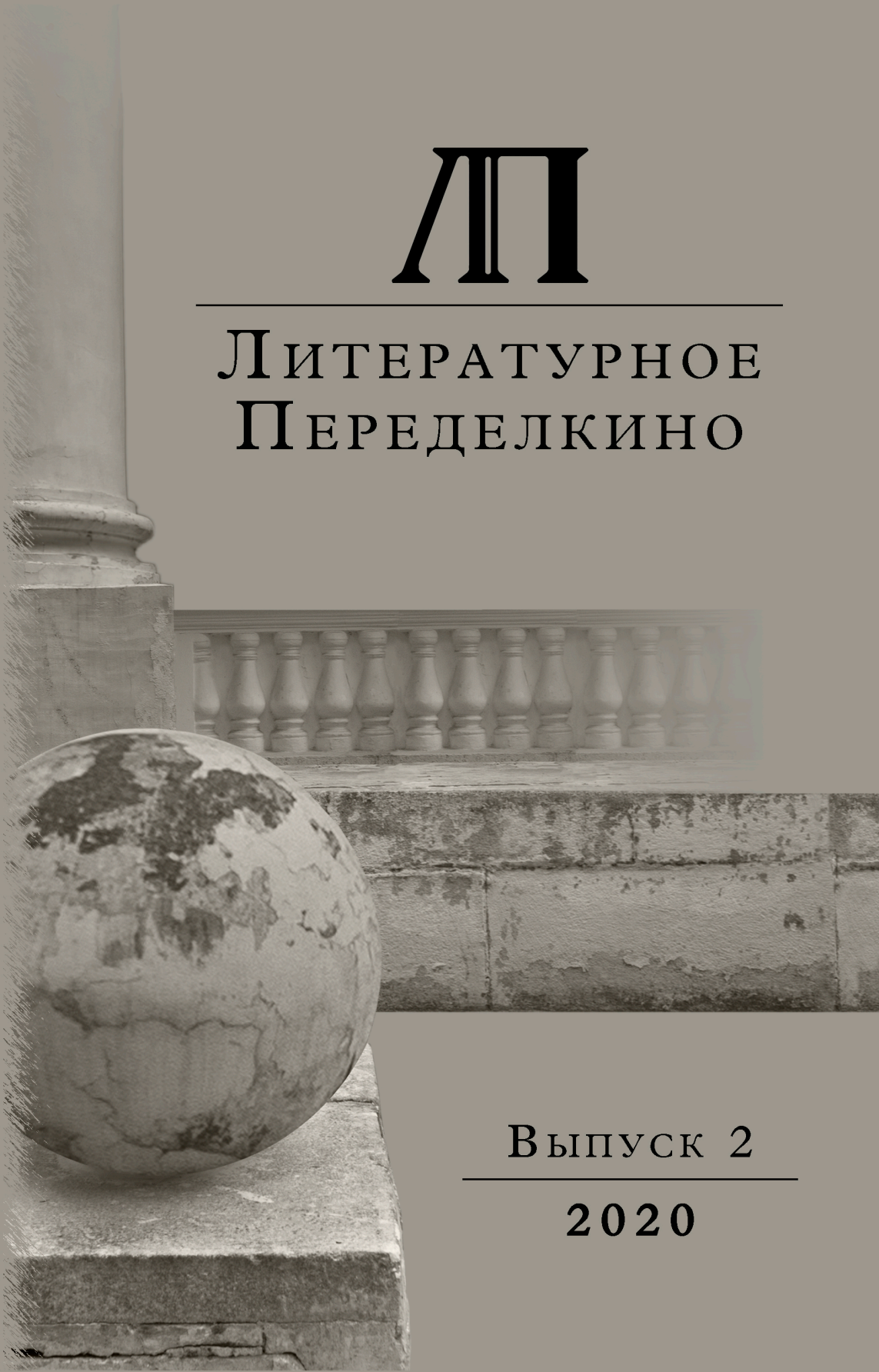


ЛП

Литературное Переделкино

Выпуск 2

2020

Литературное Переделкино
Литературно-художественный и историко-краеведческий альманах

Выпуск 2 (2020) ISSN 2686-9357

Главный редактор
Сергей Агапов

Редакционная коллегия
Анна Бобровская-Ленина
Кирилл Иоутсен
Татьяна Князева (*ответственный секретарь*)
Павел Крючков
Алла Рахманина

Редакторы
Анна Бобровская-Ленина
Кирилл Иоутсен
Татьяна Князева

В работе над выпуском участвовали
Галина Нилова
Наталья Павлюк
Татьяна Петрикеева
Елена Топникова

Учредители
Сергей Агапов
Анна Бобровская-Ленина
Кирилл Иоутсен
Алла Рахманина

Издатель
Кирилл Иоутсен

ЛП

СОДЕРЖАНИЕ

Сергей Агапов Вступительное слово 5

Литературное краеведение

[Исследования]

Наталья Александрова Село Лукино и сельцо Измалково 8
Дзётаро Ота Корней Чуковский и Томико Инуи 43

[Воспоминания]

Игорь Золотусский Переделкино и русская литература 59
Ирина Зорина Житьё-бытьё в Переделкине 69
Станислав Айдинян В гостях у Вениамина Каверина 81
Татьяна Ошанина Моё Переделкино, мой Мичуринец 92
Анастасия Метлицкая Наш дом в Мичуринце 104

Литература Переделкина

[Поэзия]

Юрий Ряшенцев Стихотворения 115
Марк Кабаков Стихотворения 119

[Проза]

Алла Рахманина Духовный дар 123
Алла Рахманина Две солнечные женщины 127
Алла Рахманина Известный человек 131
Томико Инуи Семь журавликов 141

[Литературная гостиная]

Вечер Олега Шестинского (2008) 151
Вечер Николая Воронова (2008) 164
Вечер Владимира Кострова (2009) 178
Вечер Льва Аннинского (2013) 191

Образы Переделкина

Григорий Пельман Музей искусств в Переделкине 205
Татьяна Синельникова Катя Медведева 214

Сергей Агапов

Вступительное слово главного редактора

Здравствуйте, дорогие читатели.

Перед вами — второй выпуск альманаха «Литературное Переделкино».

Для нас стал приятной неожиданностью большой интерес, который вы проявили к первому номеру. Допечатывать тираж нам пришлось несколько раз! И это — очередное свидетельство того значения, которое имеет в нашей культуре посёлок Переделкино, той любви, которую испытывают к нему ценители нашего литературно-исторического наследия.

Интерес к Альманаху, безусловно, объясняется и информационным вакуумом вокруг посёлка, образовавшимся в последнее время. Нескончаемые тяжбы за земли и собственность, смена властей, арендаторов и владельцев внушают немалую тревогу и озабоченность тем, кому небезразлична судьба писательского городка, вызывают желание иметь как можно больше источников информации. Поэтому мы с радостью встречаем и появление ещё одного ресурса — официального сайта *Pro-Peredelkino.org*. А Редакции «Литературного Переделкина» особенно лестно увидеть на этом сайте ссылку на Альманах и его материалы.

Приносим свои извинения за ошибки и неточности, которые мы допустили в первом — пробном — тираже. Благодарим

всех, кто высказал нам свои замечания. С вашей помощью в дополнительных тиражах мы внесли поправки, а основные из них указали в конце этого выпуска.

Отрадно, что Альманах стал нашим общим делом, а не только делом начинающего коллектива журналистов. Кстати, было решено создать и книжную серию — *Библиотеку Альманаха «Литературное Переделкино»*. В ней опубликовано уже две книги наших авторов. В 2019 году вышел дебютный сборник стихов Татьяны Князевой «Ле-диез-то», а в 2020 году — комедийная пьеса Аллы Рахманиной «Город ночью». Идёт работа и над новыми книгами.

Теперь о содержании настоящего выпуска.

Раздел литературного краеведения открывается статьей «Село Лукино и сельцо Измалково», в которой наш добрый друг Наталья Александрова, хранитель Государственного музея А.С. Пушкина, представляет комментированную подборку редких архивных фотографий и прежде не публиковавшихся документов по истории переделкинских окрестностей 1920–30-х годов. Японский славист Дзётаро Ота, кандидат филологических наук и профессор университета Кумамото-Гакуэн, с трогательной скрупулёзностью повествует о любопытном эпизоде уже шестидесятых годов, а именно, о визите японской писательницы Томико Инуи на дачу к Корнею Чуковскому. Наивная в своей детской непосредственности сказка Инуи «Семь журавликов» публикуется нами в полном переводе господина Ота и с оригинальными иллюстрациями.

Особенно богат на сей раз мемуарный раздел. Своими воспоминаниями и размышлениями поделился Игорь Петрович Золотусский, знакомством с которым мы гордимся и ценим его доброжелательное отношение к Альманаху, а также и наш старинный товарищ — историк и писатель Ирина Зорина-Карякина. О своей встрече с Вениамином Кавериным рассказал секретарь Анастасии Ивановны Цветаевой, искусствовед Станислав Айдинян. Как и в прошлый раз, не обойдён молчанием и соседний посёлок Мичуринец, речь о котором — в историях писателя Татьяны Успенской-Ошаниной (дочери поэта Льва Ошанина) и биолога Анастасии Метлицкой.

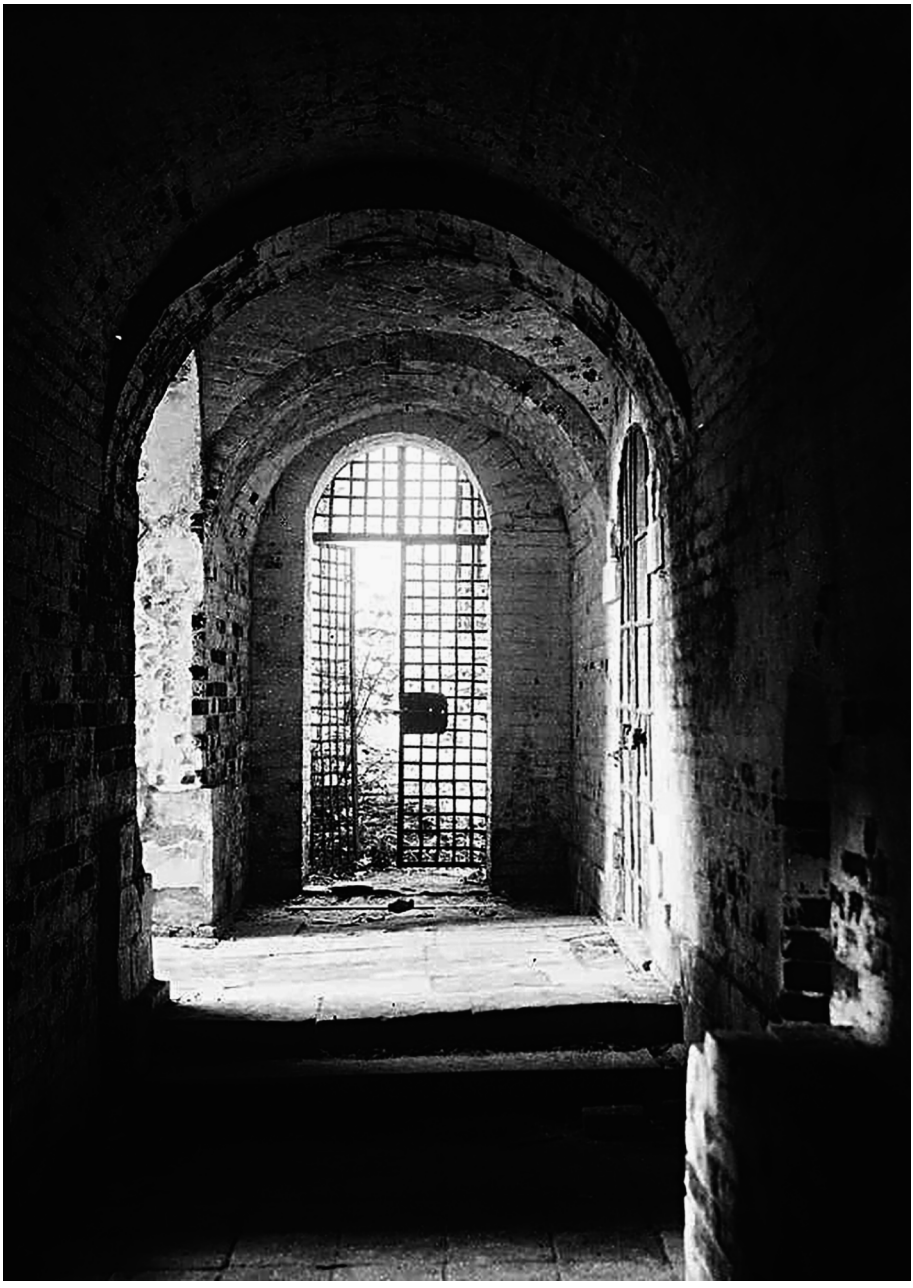
Из художественной литературы вниманию читателей предлагается поэтическая подборка сочинений двух наших современников — Юрия Ряшенцева и Марка Кабакова. Каждый из них специально для Альманаха написал по новому стихотворению (Марк Владимирович сделал это в 2016 году, незадолго до своей кончины, когда Альманах находился ещё на стадии обсуждения). Мягкая, с виду непритязательная, но в то же время глубочайшая

лирика одного прекрасно оттеняется мощным, ритмически смелым, классическим стилем другого. Документальная проза члена международного Пен-Центра и Союза писателей Москвы Аллы Рахманиной посвящена её встречам с такими разными авторами, как Эдуард Лимонов, Сэда Вермишева, Тамара Башмакова и Елена Широкова-Тамбовцева.

Для раздела Литературной гостиной мы решили взять встречи прошлых лет — с писателями Олегом Шестинским (2008) и Николаем Вороновым (2008), поэтом Владимиром Костровым (2009) и критиком Львом Аннинским (2013). Видеосъёмка встреч велась Татьяной Князевой, Павлом Крючковым и Владимиром Спектором. Из их записей заимствованы и кадры, иллюстрирующие очерки.

Последний — художественный — раздел посвящён не всем пока известной достопримечательности Городка писателей. Это — клубный Музей искусств в Переделкине, где предприниматель и коллекционер Григорий Пельман собрал работы художников-примитивистов, среди которых центральное место отведено Кате Медведевой. Статьи об этом музее и о творчестве Кати написаны самим Григорием Леопольдовичем и искусствоведом Татьяной Синельниковой.

Итак, в путь. Будем ждать ваших отзывов и доброжелательной критики!



Наталья Александрова

Село Лукино и сельцо Измалково

История «переделкинских земель» делится на два больших периода, изучаемых историками, краеведами и литературоведами.

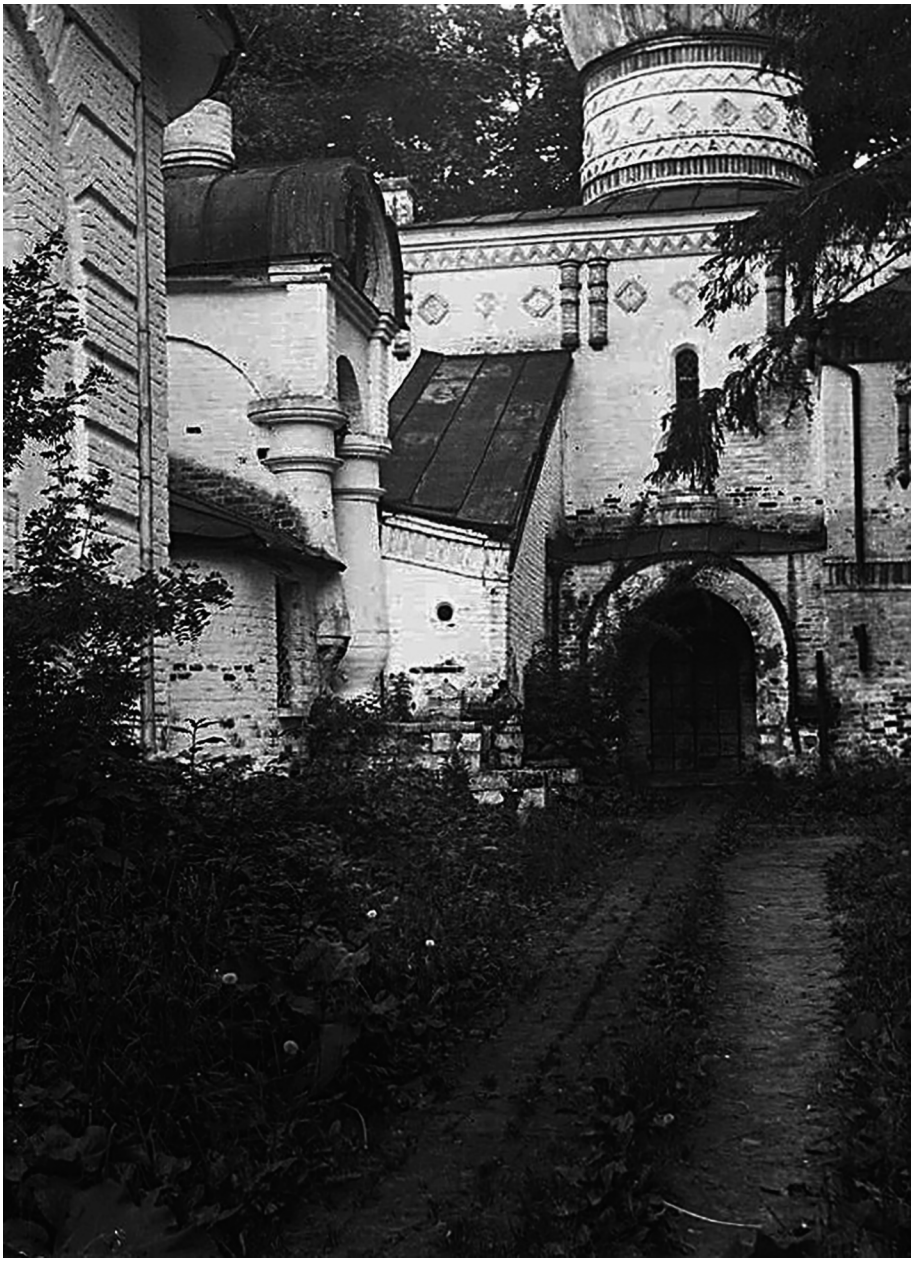
Первый, дореволюционный, связан с историей дворянских имений Измалково и Спасское-Лукино, принадлежавших семьям Самариных и Боде-Колычёвых[1]. Сохранились подробные описания жизни в усадьбах, письма и дневники, существуют и статьи об имениях, написанные уже во второй половине XX–начале XXI веков.

Несмотря на кажущееся отсутствие связей, обе семьи объединяло не только соседство и сословное происхождение, но и внимание к русской культуре, подвижничество. Самарины и породнившиеся с ними Комаровские занимались с крестьянскими детьми в Измалковской школе, а Михаил Львович Боде-Колычёв создал музей в усадьбе Спасское-Лукино. В начале 1920-х годов хозяева были вынуждены покинуть свои дома, а история усадеб как семейных очагов трагически оборвалась. Правда, сельская школа в Измалкове существовала ещё в советское и даже постсоветское время и была закрыта только в начале XXI века; в ней всегда помнили имена основателей. Музей же был полностью разорён, вещи вывезены, и до сих пор судьба многих из них неизвестна.

Второй, послереволюционный, период начался в 1936 году — с появления на карте посёлка «Городок писателей Переделкино» — и продолжается по сей день. Он связан с историей советской и российской литературы, с жизнью и творчеством поселившихся здесь тружеников пера, с их судьбами, тесно переплетавшимися с историей страны.

Что же происходило на «переделкинской земле» между двумя этими большими периодами, то есть, в 1920–1930-е годы? Свидетельств об этом сохранилось немного. Это отдельные документы о национализации недвижимого и движимого имущества в усадьбах, единичные сведения о том, что происходило в имениях после революции (за исключением упоминаний учреждений, которые занимали усадебные постройки в разные годы). Описания изменений архитектурных памятников и вовсе отсутствуют.

[1] В дореволюционных текстах встречается два написания первой части фамилии: «Боде» и «Бодэ»; вторая же часть изначально писалась как «Колычов».



Интересен тот факт, что именно в этот период «переделкинские земли» привлекали известных фотографов, которые много снимали Лукино и Измалково.

В русском искусстве на 1920-е годы пришёлся расцвет пикториальной фотографии. Фотографы-пикториалисты стремились приблизить фотографию к художественному произведению, используя специальные объективы и сложную технику печати. Пикториальная фотография стала противопоставлением документальной съёмке и фоторепортажу и, приближаясь к живописи, приобретала эмоциональную окраску, выраженные индивидуальные смыслы и значения.

Фотохудожники работали в разных жанрах, но особое внимание уделяли пейзажу. Для них ландшафт был «портретом природы», а задача состояла в том, чтобы передать малейшие черты и нюансы, показать всю его глубину, не только умело владея техникой съёмки и печати, но и используя все оттенки освещения. Пикториалистам удавалось изобразить воздух и пространство так, что чёрно-белые снимки обретали живые краски природы. Главным в фотографии теперь считалась не красота изображаемой местности сама по себе, а возможность через образ природы передать чувства, мысли и настроения человека.

***

Фотографы-пикториалисты часто возвращались к одной, полюбившейся им, натуре, оставаясь при этом в поисках новых художественных замыслов и техник исполнения. Одной из таких натур стала усадьба Спасское-Лукино, которую запечатлели на своих снимках три знаменитых фотографа: Ю.П. Ерёмин, А.Д. Гринберг и Н.И. Свищов-Паоло. Их работы — среди лучших изображений усадьбы Боде-Колычёвых.

Юрий Петрович Ерёмин (1881–1948) был известен как создатель серии художественных снимков архитектурных памятников Москвы и усадеб Подмосковья (его фотографии в 1928–1929-х годах печатались на почтовых карточках). Кроме того, Ерёмин занимался фотофиксацией памятников архитектуры для Общества изучения русской усадьбы (ОИРУ)[2]. «Мне показалось необходимым и увлекательным заснять архитектуру старой усадьбы. Я считал важным сохранить эти документы прошлого для настоящего», — писал он[3].

Отличительной особенностью работ Ерёмина являлось то, что у него не существовало случайных фотографий. Для него всегда был важен тщательно составленный план съёмок, продуманность каждого кадра. Он фотографировал с разных точек при различном освещении, выходил на съёмки и в ранние утренние часы, и в полдень, и в час заката. Отдельное внимание Юрий Петрович уделял пейзажу — сохранилось немало видовых фотографий. Стоит отметить его любимый художественный приём, названный позднее «ерёминской веткой». Суть этого простого, но новаторского для того времени приёма была в том, что на передней план попадала ветка, придавая всей композиции снимка глубину. Впоследствии многие фотохудожники использовали подобный приём в своих работах. Но главное было в том, что Ерёмин осознавал единство памятника архитектуры и окружающего пейзажа.

В усадьбе Спасское-Лукино Юрий Петрович Ерёмин нашёл свои любимые темы: остатки барских построек, пруд, парковые скульптуры, церковь и гармонично сочетавшийся со всем этим пейзаж. На снимках Преображенской церкви присутствует нежность, теплота и лиричность, что подчёркивается тенями от ветвей деревьев на освещённых солнцем стенах. Статуи, отражающиеся в воде, передают таинственность старинного парка.

---

[2] Общество было создано по инициативе искусствоведа В.В. Згуры в 1922 году и официально просуществовало до 1930 года. Во второй половине 1930-х годов большинство уже бывших членов ОИРУ были репрессированы, а коллекция и архив общества утрачены. Сохранились лишь официальные протоколы (в Государственном архиве Российской Федерации), копии картотеки (в Государственной публичной исторической библиотеке) фотографической коллекции и публикаций, а также некоторое количество рукописей (в Государственном музее А.С. Пушкина).

[3] Цит. по: *Стигнеев, В.* От пикториализма к фоторепортажу: Очерки истории Отечественной фотографии: 1900–1950. М., 2013. С. 66.

На выставке «Советская фотография за 10 лет» была представлена серия Ерёмина «Русские усадьбы», где среди прочих работ был снимок «Измалково»[4]. Но сохранилась ли эта работа, неизвестно. В собрании Музейно-выставочного комплекса Московской области «Новый Иерусалим» хранится подписанный самим фотографом авторский отпечаток под названием «Павильон в Измалкове», но, к сожалению, запечатлены на нём пруд и павильон другой усадьбы, Михалково, — автор ошибся в подписи.

Александр Данилович Гринберг (1885–1979) сделал знаменитые снимки лукинских видов снежной зимой. Он был мастером, умевшим соединять художественную идею и виртуозную технику. Работая в жанре пейзажа, он часто выступал как импрессионист. Создавая настроение, Гринберг стремился к мягкости и прозрачности форм, а потому часто снимал в тумане или в зимнюю пору. Он нередко выбирал фрагментарный мотив, передавая целое через часть, но без потери объёмно-глубинного пространства. Большой цикл Гринберга «Усадьбы», подобно ерёминским снимкам, показывает архитектуру в сочетании с пейзажем.

Зимний пейзаж, архитектурные детали построек и мастерство фотографа в совокупности придали усадьбе Спасское-Лукино сказочной таинственности, в которой нашли своё отражение расплывчатость, романтическая поэтичность и символическая загадочность. Александр Данилович снимал архитектурные детали с контрастными тенями на снегу, подчёркивая соединение пейзажа и архитектуры, давая возможность полюбоваться «русским» сюжетом.

Сохранились, однако, не только зимние пейзажи усадьбы Лукино, выполненные Гринбергом. На выставке «Советская фотография за 10 лет» среди его работ был снимок из цикла «Усадьбы» под названием «Коридор. Переделкино (б. Бодэ)»[5], хранящийся уже многие годы в Государственном историческом музее.

[4] Советская фотография за 10 лет: Каталог выставки. М., 1928. С. 69.
[5] Там же. С. 66.

Николай Иванович Свищов-Паоло (1874–1964), будучи одним из лучших портретистов, начавших свою деятельность ещё в дореволюционной России, также занимался съёмками пейзажа. Он наравне с другими мастерами пытался передать впечатление от красоты природы и создать определённое настроение на снимке. Для его работ свойственно нерезкое изображение с умеренным освещением и, соответственно, некоторая размытость форм предметов. В фокусе его камеры зачастую оказывались не главные объекты, а их фрагменты, да и пейзаж он снимал не большими панорамами, а выхватывая отдельные детали — детали, говорившие о человеке и о жизни. На его работах встречаются одинокие колонны разрушенного дома, покосившийся фонарь, ствол дерева, скульптура в парке. Солнечные блики на развалинах имения Спасское-Лукино придают снимкам особенную лиричность.

Все мастера осуществляли съёмку в разное время года и в разных условиях, однако им удалось подчеркнуть важную деталь усадьбы — её русский стиль, в котором нет европейских влияний классицизма или барокко, а есть красота терема, где каждый элемент подчёркивает традицию русской архитектуры. Именно такой стиль полюбил дворянин французского происхождения Михаил Боде-Колычёв и смог воплотить в своём подмосковном имении.

В 1930-е годы началась большая идеологическая кампания, которая выражалась в борьбе с формализмом и натурализмом. Она не обошла стороной и мастеров художественной фотографии. Они подверглись жёсткой критике как пропагандисты «эстетизма и буржуазности», многие были вынуждены отказаться от творческих изысканий в области фотографии и перейти на заработки штатных фотографов различных госучреждений, а их снимки, запечатлевшие некогда мир русской усадьбы, долгие годы не публиковались.

В 1920-е годы усадьбы Лукино и Измалково были обследованы членами ОИРУ. Пока не удалось установить, когда именно и кем было сделано обследование, но сохранилось несколько снимков в фотографической коллекции Общества. Уже в 1925 году обе усадьбы входили в план летних экскурсий ОИРУ.

20 сентября. Лукино и Измалково Московского уезда у пл. Переделки Киево-Воронежской ж.д.

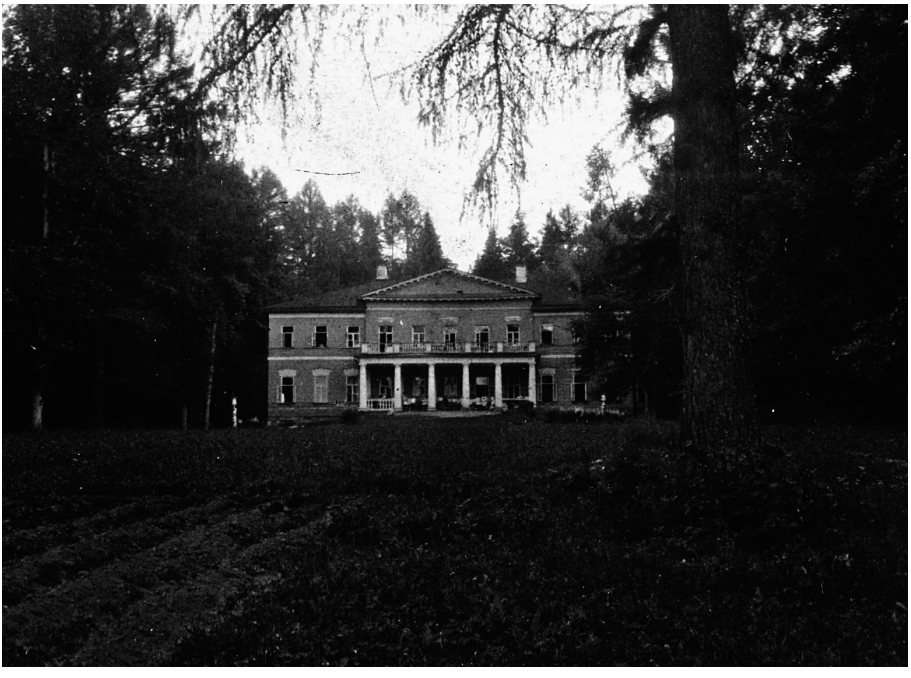
Лукино (Бодэ). Дом, ныне находящийся в развалинах, был сооружен в 60-х годах XIX века «в русском вкусе» и по преданию включил старые части XVII века. Сохранились любопытные ворота с башней, две церкви и другие постройки, позволяющие судить о единственном в своем роде применении древне-русских форм в усадебном строительстве. Посреди двора находится любопытный обелиск с перечислением казненных по повелению московских царей представителей семьи Колычевых. В старом регулярном парке XVIII века сохранились статуи около аллей и вокруг фигурного водоема.

Измалково (Самариных) в 1 версте от Лукина. Образчик русского деревянного строительства позднего empir'a. Обширный дом с частично сохранившимися в нем предметами убранства стоит на пригорке над прудом: справа от него службы, также деревянные, и небольшая каменная церковь обычного усадебного типа, относящаяся к XVIII веку. В старом липовом парке остатки декоративной скульптуры.

Руководитель О.И. Пенчко[6]*. Сбор на Киево-Воронежском (Брянском) вокзале (трамвай 4, автобус № 2) в 10 час. Плата 1 рубль.*

В подобных поездках, кроме экскурсий, происходила и фотофиксация памятников архитектуры (на снимках, запечатлевших Измалково, указан 1925 год). Можно предположить, что именно в эту поездку были сделаны фотографии самаринского имения, а возможно, и Преображенской церкви в Лукине.

[6] Онуфрий Иванович Пенчко (1896–репрессирован).



В 1928 году ОИРУ издало первый выпуск справочника по памятникам усадебного искусства Московского уезда[7], куда были включены оба имения.

Измалково,

на р. Сетунь, 2 км. от платф. Переделкино, М.-Киево-Ворон. ж.д.

Владельцы: Леонтьевы (XVII в.), Самарины, Комаровские (XIX в.), теперь детский дом.

Деревянный 2-этажный дом с двумя ризалитами, в стиле ампир, украшен с переднего фасада балконом на дорических колоннах. Службы. В большом английском парке скульптура (Зевс). Пруд.

Каменная церковь 1757 г., крестообразная в плане, в стиле позднего барокко с классической декорацией[8].

Лукино, село,

на р. Сетуни, при платф. Переделкино, М.-Киево-Ворон. ж.д.

Владельцы: В XVII в. Ододуров, Леонтьевы (1627–1725 г.), Долгорукие (с 1729 г.), Ковалевская К.С. (1852 г.), Боде-Колычев, Соллогуб, теперь Совхоз.

[7] Памятники усадебного искусства. Вып. I. Московский уезд. Серия «Труды картографической коллекции ОИРУ». М.: ОИРУ, 1928.
[8] Там же. С. 35.

Все постройки, за исключением церкви, построены в середине XIX в. под руководством Боде-Колычева и худ. Солнцева в псевдо-русском стиле. От сгоревшего главного дома осталась аркада переднего фасада. Сохранилась ограда с башнями и Теремом над воротами, украшенном изразцами и каменными львами при входе. В регулярном парке музей-архив, стены которого внутри расписаны родословной Колычевых, копаный пруд, скульптура XVIII в. (?)

Церковь 1819 г. с переделками, круглый барабан на четырехграннике с четырьмя позднейшими декоративными главками. Колокольня того же времени[9].

[9] Там же. С. 49.

© «Музей архитектуры имени А.В. Щусева»
МУ
АР

МУ
АР
© «Музей архитектуры имени А.В. Щусева»

МУ
АР
© «Музей архитектуры имени А.В. Шусева»

Кроме фотографий ОИРУ сохранились негативы архитектора и реставратора Николая Дмитриевича Виноградова (1873–1928), датируемые 1920-ми годами[10]. На одном из них запечатлена и Преображенская церковь в Лукине. Этот кадр интересен тем, что и точкой съёмки, и композицией он повторяет снимок Ю.П. Ерёмина. Николай Дмитриевич также сделал подробную съёмку парковых скульптур, которые к тому времени уже были сильно повреждены.

У Александра Тимофеевича Лебедева (1868–1943), в отличие от фотографов-пикториалистов, была совсем иная задача. Ещё до революции он начал заниматься целенаправленной фотофиксацией некрополей, но после смены власти, видя, как шло уничтожение всего, что связано со старорежимной жизнью, Лебедев начал активно снимать памятники архитектуры Москвы и Подмосковья, понимая, что если он не мог их спасти, то мог хотя бы зафиксировать их облик. В общей сложности им было сделано три альбома (684 снимка) исторических достопримечательностей Подмосковья[11].

7 июня 1933 года Лебедев приехал в Лукино и Измалково. Он сделал подробные съёмки двух усадеб. Благодаря ему мы можем теперь увидеть церковь Дмитрия Ростовского в Измалкове и часовню Митрополита Филиппа в Лукине. Несколько лет спустя он вновь приехал в Лукино и снял уже только то место, на котором была часовня. Его фотографии — это уникальный материал, сохранивший образ архитектурных памятников перед уничтожением.

Одной из отличительных особенностей лебедевского архива является его чёткая систематизация. Александр Тимофеевич на обороте снимков делал подписи, где указывал как название памятника и дату съёмки, так и краткое описание архитектурного сооружения. Делал он и сопроводительные записи[12].

Если перечислить памятники, зафиксированные Лебедевым в окрестностях Переделкина, то получается следующий список: церковь Благовещения в селе Федосьино; въездные ворота, проезжая башня в виде русского терема[13], памятник-обелиск, ограда с башнями, угловые башни, часовня Митрополита Филиппа (до разрушения и после), Преображенская церковь в усадьбе Спасское-Лукино; усадебный дом и церковь Дмитрия Ростовского в усадьбе Измалково.

---

[10] Хранятся в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры им. Щусева (ГНИМА).

[11] Сейчас основная часть архива и негативы А.Т. Лебедева хранятся в ГНИМА, но есть снимки и в иных государственных и частных собраниях.

[12] Так, в ГНИМА сохранилась заметка под названием «Сведения об усадьбах Лукино, Никольское-Архангельское, Таболово, Кузьминки, Остафьево с библиографией и указанием памятников и их описанием», датированная 1920–30-ми гг. (ОФ-4491/26).

[13] Часто ошибочно именуемая усадебным домом; главный усадебный дом, однако, к тому времени уже сгорел.

МУ
АР
© «Музей архитектуры имени А.В. Щусева»

***

Во время исследования истории усадьбы Измалково был обнаружен документ, который по каталогам и описям именовался как «Описание села Лукино и сельца Измайлово»[14]. Текст написан кем-то из членов Российского общества туристов в 1924 году и дополнен впоследствии историческими справками. К сожалению, автор не указан, и каких-либо сведений о дальнейшей судьбе документа установить не удалось. Возможно, это были материалы готовившейся лекции или доклада, а может быть, подготовительный текст к экскурсии или статья для публикации.

Документ сохранился фрагментарно, и часть страниц отсутствует, но даже имеющийся текст поражает подробностью описания памятников архитектуры и справками, связанными с историей жизни владельцев. Удивительно то, что он был написан в то время, когда из барских домов уже были выселены хозяева, но сами дома ещё не были окончательно разрушены или переданы новым владельцам. Этот материал — исключительное дополнение к фотографиям, сделанным в 1920–30-е годы.

***

[14] ОР РГБ. Ф. 177. Д. 37. Ед. хр. 80. В официальном названии документа по каталогам и описям — именно «Измайлово», хотя в самом тексте речь идёт уже об Измалкове.

Село Лукино и сельцо Измалково[15]

I
27 июля 1924 г.

Последним владельцем усадьбы Измалково был Самарин[16]*. В имении сохранился дом XIX века, в котором в настоящее время помещается учебное заведение*[17]*, и церковь сооруженная в 1757 г.*[18] *В парке сохранился бюст греческого философа. На кладбище стоит часовня деревянная, а в ней сохранилось скульптурное распятие. По словам настоятеля Лукинской церкви*[19] *это распятие первоначально стояло на улице в одной из окрестных деревень*[20]*, но бывший владелец Лукина барон Бодэ Колычев*[21] *нашел более приличным убрать его с улицы. Часовня для него была сооружена после того, как одна местная жительница увидела во сне этот крест.*

Лукино на р[еке] Сетуни в начале было деревней Сетунского стана. В начале XVII века оно было в поместье за Иван Федоровичем Леонтьевым[22]*, царским ловчим. Впоследствии оно стало вотчиной Леонтьева, ему же принадлежало соседнее Измалково. Леонтьев построил в Лукине церковь Преображения, но когда именно неизвестно. В 1646 г. церковь уже существовала. Во владении рода Леонтьевых Лукино оставалась до 1720 г.*[23] *Последним владельцем Лукина из рода*

---

[15] В настоящей публикации текст документа приводится полностью. Авторское написание имён собственных и пунктуация сохранены, орфография в основном приведена к современной норме. Комментарии и уточнения вынесены в примечания.

[16] Самарины владели усадьбой длительное время, однако последними хозяевами были Владимир Алексеевич Комаровский (1883–1937) и его жена Варвара Фёдоровна (урожд. Самарина; 1886–1942).

[17] Детская санаторная колония.

[18] Церковь Дмитрия Ростовского.

[19] Вероятно, протоиерей Василий Иванович Введенский (1863–1933). Похоронен на Переделкинском кладбище.

[20] Вероятно, смешались сведения о деревянной часовне, стоявшей на старом кладбище, и часовне Митрополита Филиппа.

[21] Михаил Львович Боде, с 1876 года — Боде-Колычёв (1824–1888) — обергофмейстер двора, историк, коллекционер. Из французских дворян (Боде), перешедших на службу в Россию после Французской революции. Мать, Наталья Фёдоровна (урожд. Колычёва; 1790–1860) — дальняя родственница святителя Филиппа, митрополита Московского. После смерти последнего представителя рода Колычёвых по мужской линии, М.Л. Боде получил разрешение принять фамилию и герб Колычёвых. Он долгие годы собирал материалы по истории рода Колычёвых; итогом этой работы стал труд «Боярский род Колычёвых» (М., 1886). Был похоронен в родовой усыпальнице в Лукино.

[22] Иван Фёдорович Леонтьев (ум. 1661).

[23] В 1661–1687 годах Лукино принадлежало сыну Ивана Фёдоровича, Фёдору Ивановичу Леонтьеву (ум. 1687). По переписи 1678 года, в селе находились дворы помещика, два двора задворных и девять крестьянских, а также дворы причта Спасской церкви. В 1687 году владение досталось сыновьям Фёдора Ивановича —

Леонтьевых была внучка Ивана Федоровича кн[ягиня] Татьяна Федоровна Щербатова[24]. В 1729 г. Лукино было продано Михаилу Владимировичу Долгорукому[25], а он отдал его в 1756 г.[26] своей дочери Аграфене[27]. Кому принадлежало имение после Долгоруковых сведений не имеется. В 20-х годах XIX века Лукинская церковь была перестроена на средства графини Варвары Петровны Разумовской, рожд[енной] гр[афини] Шереметевой[28], жены министра Народного Просвещения при Александре I. Она умерла в 1824 г. Владелицей Лукина она однако не была. По преданию гр[афиня] Разумовская обещала построить для поминовения ее души 40 церквей. В это число вошла и Лукинская церковь. В 1850-х годах Лукино принадлежало Киндяковым и в 1855 году куплено у [н]их бароном М.Л. Бодэ Колычевым, который и является созидателем Лукина[29]. Большой поклонник Русской старины, гордившийся своим происхождением из боярского рода Колычевых, которым между прочим принадлежал

Павлу (ум. до 1716) и Василию (ум. 1725). К этому времени в селе была построена ещё одна деревянная церковь — Иоанна Предтечи с приделом Воздвижения Креста Господня. На территории её погоста существовал двор священника. В 1704–1725 годах селом владел Василий Фёдорович Леонтьев. В селе находились дворы вотчинника, скотного (с девятью служителями), девять крестьянских и причтовых церкви Спаса Преображения Господня.

[24] В 1725–1729 годах селом совместно владели вдова Василия Фёдоровича Леонтьева (ум. 1725), Ирина Александровна (урожд. Ляпунова), и его родная сестра, Татьяна Фёдоровна Щербатова, вдова князя Василия Григорьевича Щербатова.

[25] Князь Михаил Владимирович Долгоруков (1667–1750) — действительный тайный советник, сенатор и губернатор Сибири и Казани. В 1730 году был сослан, в 1739 году лишён всех званий и имений, но в 1741 году, по восшествии на престол императрицы Елизаветы Петровны, был прощён. Был женат на княжне Евдокии Юрьевне Одоевской (1675–1729). Сохранился план села 1766 (?) года, где показана лишь улица с деревянными крестьянскими домами, поставленными вдоль центральной дороги. Господских строений не изображено, хотя в это время здесь уже находился деревянный господский двор, деревянная церковь и сад с «плодовыми деревьями».

[26] Ошибка — М.В. Долгоруков умер в 1750 (см. прим. 25).

[27] Анастасия (Аграфена) Михайловна Брюс (урожд. Долгорукова; 1700–1775), жена Александра Романовича Брюса (1704–1752), мать генерал-аншефа и московского главнокомандующего Якова Александровича Брюса (1732–1791).

[28] Графиня Варвара Петровна Разумовская (урожд. графиня Шереметева; 1750–1824) — жена, а затем вдова действительного тайного советника графа Алексея Кирилловича Разумовского (1748–1822). Владела селом в 1791–1824 годах. При ней в 1815–1819 годах вместо деревянной была построена каменная церковь Спаса Преображения Господня с двумя тёплыми приделами — во имя Великомученицы Варвары и Апостолов Петра и Павла. На содержание причетников графиня положила в Воспитательный дом 15 тысяч рублей, ежегодные проценты с которых в размере 750 рублей шли на их обеспечение. В усадьбе имелся небольшой парк с прудом.

[29] Во второй половине 1820-х годов село Лукино было передано наследниками В.П. Разумовской (по её завещанию) дворянке, коллежской советнице Варваре Борисовне Зыковой, от которой оно перешло Киндяковым, в 1847 году — К.С. Ковалевской, а затем, в 1853 году, — барону М.Л. Боде, который кардинальным образом перестроил имение.

митрополит Филипп, он построил в Лукине новый дом в русском стиле, к старой церкви пристроил семейную усыпальницу с церковью митрополита Филиппа. В эту усыпальницу им перевезены из разных мест тела своих предков. Дяди, бабки, отца…

Въезд в усадьбу устроен чрез именные ворота, над которыми находилась так называемая боярская палата. Рядом с палатой находилось здание музея, перед домом воздвигнут был обелиск в память убитых и казненных Колычевых. По смерти Бодэ Колычева Лукино перешло к его дочери гр[афине] Наталии Михайловне Сологуб, а после [н]ее к ее дочерям[30]*. В Лукине Бодэ Колычев собрал обширную Коллекцию древностей, старинных рукописей и книг, а в доме было много портретов. После революции портреты были взяты Главмузеем*[31]*, архив же Колычева был передан в Главархив (ныне Центрархив)*[32]*, но кое-что вероятно осталось на месте в боярской палате, которая запечатана Главмузеем. Дом последовательно занимался разными организациями и года 2 после революции сгорел до тла. Осталась в полуразрушенном виде галерея соединяющая дом со церковью Митрополита Филиппа*[33]*. В это же время подвергнулась ограблению усыпальница и церковь над ней, при чем тела погребенных были выброшены из гробов. Впоследствии кости их были преданы земле. По-видимому здесь искали сокровищ. По свидетельству настоятеля церкви кощунство было произведено не местными жителями, а приезжими людьми. В церкви Филиппа богослужение больше не совершается. Преображенскую церковь исследовал протоиерей Введенский*[34]*. По его словам царские ворота в главном пределе древние, так же древние паникалила*[35] *крестообразной формы. В целости сохранились обелиск, Боярская палата и здание музея, последнее впрочем стоит уже без окон.*

---

[30] Наталья Михайловна Соллогуб (1851–1916) — жена художника-декоратора и поэта графа Фёдора Львовича Соллогуба (1848–1890), сына Льва Александровича Соллогуба (1812–1852) и Марии Фёдоровны (урожд. Самариной; 1821–1888). Так владельцы двух имений породнились на рубеже веков. Н.М. Соллогуб владела имением до 1916 года, а последними владельцами усадьбы стали её дочери — девица графиня Елена Фёдоровна Соллогуб (1874–1935) и жена капитана 2-го ранга в отставке Вера Фёдоровна Левшина (1875–после 1931). В 1912 году было составлено страховое описание с планом имения в селе Спасское-Лукино гр. Соллогуб, на котором представлены двадцать шесть наименований построек.

[31] Главный комитет по делам музеев и охране памятников искусства, старины и природы при Народном комиссариате просвещения РСФСР.

[32] В 1918–1922 годах — Главное управление архивным делом при Наркомате просвещения РСФСР (ГУАД / Главархив при Наркомпросе РСФСР); в 1922–1929 годах — Управление Центральным архивом при ВЦИК РСФСР (Центрархив); в настоящее время — Федеральное архивное агентство (Росархив).

[33] Вероятно, имеется в виду храм-крипта в честь Митрополита Филиппа около Преображенской церкви.

[34] См. прим. 19.

[35] Имеется в виду паникадило (всесвещник, поликандило; *греч.* «многосвечие»). В православном храме — центральная люстра, светильник с множеством свечей или лампад.

II

Лукино 1892 года
Допол[нение] 1925 г[ода]

В писцовых книгах 1627 года значится в поместьи за Иваном Федоровичем Леонтьевым, что преж сего было за Сергеем Ододуровым[36]*, деревня Лукино, на речке Сетуни, Московского уезду Сетунского стана, а в ней (был) двор помещиков с деловыми людьми, один двор крестьянский и 2 двора бобыльских, в них 5 человек. При Иване Федоровиче Леонтьеве в Лукине построена церковь. В переписной книге 1646 года значится: «За Иваном Федоровым сыном Леонтьевым село Лукино, а в селе церковь Преображения Господня, у церкви во дворе поп Иван Фёдоров, да в селе двор помещиков, 3 двора крестьянских, 3 двора бобыльских, в них 12 человек, тогож села деревня Измалкова, а в ней 3 двора крестьянских, в них 8 человек, и вновь поселеная на сельской запольной земле деревня Заполы, а в ней 3 двора крестьянских, в них 9 человек.*

В 1648 году Преображенская церковь в селе Лукине…

[Утрата листов.]

…[Убито]му под Казанью 1552 г. НИКИТЕ СЕМЕНОВИЧУ КОЛЫЧЕВУ, ТРЕТЬЯКУ ИВАНОВИЧУ КОЛЫЧЕВУ. Казненным при в[еликой] кн[ягине] Елене за преданность князю Старицкому 1537 г. ВАСИЛИЮ ИВАНОВИЧУ ПУПКОВУ-КОЛЫЧЕВУ, АНДРЕЮ ИВАНОВИЧУ ПУПКОВУ-КОЛЫЧЕВУ, ГАВРИЛУ ВЛАДИМИРОВИЧУ КОЛЫЧЕВУ. Убитым в бою около Полоцка 1564 г. воеводе ДАНИЛУ ИВАНОВИЧУ КОЛЫЧЕВУ, окольничему ВАСИЛИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ КОЛЫЧЕВУ. /Восточная сторона/ Святому всероссийскому митрополиту Филиппу II-му задушенному 1569 г. обезглавленному опричниками в угоду царю Грозному 1568 г. ИВАНУ БОРИСОВИЧУ КОЛЫЧЕВУ. Казненным Царем Иваном Васильевичем Грозным 1571 г. сокольничему и воеводе МИХАИЛУ ИВАНОВИЧУ КОЛЫЧЕВУ и десятерым КОЛЫЧЕВЫМ. Безвинно казненному при царе Шуйском 1609 г. боярину ИВАНУ ФЕДОРОВИЧУ КОЛЫЧЕВУ. Убитому на Ходынке [при] осадном московском сидении 1608 г. АНДРЕЮ ФЕДОРОВИЧУ КОЛЫЧЕВУ, ЗАХАРИЮ ФЕДОРОВИЧУ КОЛЫЧЕВУ, ДМИТРИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ КОЛЫЧЕВУ. /Западная часть/ Убитому под Псковом 1615 ИВАНУ ИВАНОВИЧУ КОЛЫЧЕВУ, АНДРЕЮ СТЕПАНОВИЧУ КОЛЫЧЕВУ. Убитому на Конотопском сражении 1659 г. СЕМЕНУ ИВАНОВИЧУ КОЛЫЧЕВУ, КОНСТАНТИНУ ИВАНОВИЧУ КОЛЫЧЕВУ, АНДРЕЮ

[36] Встречается несколько написаний фамилии: Ододуровы, Адодуровы, Ададуровы.

СТЕПАНОВИЧУ КОЛЫЧЕВУ, ИВАНУ ИВАНОВИЧУ КОЛЫЧЕВУ. Убитому в Шведской войне 1708 г. АЛЕКСЕЮ АФАНАСИЕВИЧУ ХЛЫЗНОВУ-КОЛЫЧЕВУ. Убитому в Шведской войне 1742 г. МИХАИЛУ ИВАНОВИЧУ КОЛЫЧЕВУ. Убитому 6 октября в сражении при Полоцке 1812 г. ФЕДОРУ ФЕДОРОВИЧУ КОЛЫЧЕВУ. Памятник представляет из себя белокаменную пирамиду увенчанную золоченым крестом.

В деревне Переделках имеется небольшая деревянная часовня с иконами Казанской Б[ожией] М[атери][37] и Господа Вседержителя. На площади у часовни совершаются все молебствия во время крестного хода в деревню.

В селе Лукине дом барона Михаила Львовича Бодэ Колычева.

Дома у причта собственные деревянные.

V

В роде Самариных есть семейное предание, что Федор Васильевич Самарин[38] ещё будучи женихом подарил своей невесте Софии Юрьевне (урожденной Нелединской-Мелецкой)[39] очень богатое ожерелье. В течение всего первого года их супружества Софье Юрьевне не разу не пришлось надеть на себя эту драгоценность, и она предложила своему мужу предать этому заветному подарку другой более полезный для нея вид. Так за цену ожерелья была куплена подмосковная деревня с ее крестьянами и усадьбой. Это было Измалково.

---

[37] Вероятно, речь идёт об иконе Донской Божией Матери, написанной Владимиром Алексеевичем Комаровским в 1918–1919-х годах (по другим сведениям, в 1921–1923-х годах). Икона была установлена в Измалковской часовне, стоявшей на кладбище. Двери часовни никогда не закрывались, перед иконой неугасимо горела лампада. В конце 1920-х годов часовню разрушили, икона стала использоваться в качестве стола, а затем была утеряна. В 1970 году её чудом нашла в сарае одного из домов дочь художника, Антонина Владимировна Комаровская, которой помогал в поисках искусствовед В. Сергеев. Она выкупила икону и увезла в Москву, где её в течение нескольких лет реставрировали. После открытия служб в Свято-Даниловом монастыре образ был передан братии и по сей день находится в нижней Покровской церкви храма Святых Отцов Семи Вселенских Соборов. Образ передан с просьбой вечного заупокойного поминания иконописца Владимира Комаровского.

[38] Фёдор Васильевич Самарин (1784–1853) — русский чиновник, военный и общественный деятель, благотворитель, сын Василия Николаевича Самарина (1741–1811) и Марии Васильевны (урожд. Мещерской; 1743–1810). Первый хозяин усадьбы Измалково из Самариных.

[39] Софья Юрьевна Самарина (урожд. Нелединская-Мелецкая; 1793–1879) — дочь сенатора и поэта Юрия Александровича Нелединского-Мелецкого (1751–1828) и Екатерины Николаевны (урожд. Хованской; 1762–1813).

МР
ΘV

VI

Род де Бодэ вышел из Франции во время преследований протестантов при Карле IX (1550–1611). Потомки рода служили в Германии, получили земли в Ниж[нем] Эльзасе и утратив их во время Французской революции перешли на службу в Россию. По родству с Колычевыми один из баронов Бодэ присоединил фамилию Колычева.

Строителем усадьбы в Лукине был барон Михаил Львович Бодэ-Колычев. Русские помещики в его время все еще продолжали строить свои подмосковные [усадьбы] в стиле итальянских вил и Версальского дворца Людовика XIV (1643–1715). При домах разводили сады с аллеями из замысловато и на разный манер подстриженных деревьев с затейливыми в стиле Empir беседками и павильонами, которым давались идилистические прозвища эрмитажей, бельведеров, сан-суси'монрепо, а из темно-зеленой листвы куда не взглянешь белыми пятнами на свет Божий вылезают мраморные фавны и нимфы, аполлоны и музы, амуры и другие обыватели классического Олимпа.

Михаил Львович для своих строений изобрал решительно другой стиль, какой именно вполне согласовался с его симпатиями, привычными воззрениями. Он вырос в московском кремле, окруженный зданиями в которых первенствующее место занимают святыни византийско-русского зодчества. В юные годы он видел как под надзором его отца возобновлялись старинные царские «терема» и сооружался Большой кремлевский дворец. Михаил Львович основал в Лукине свой собственный кремль со стенами и башнями и так же как в московском Кремле отделил от других зданий построенные им церкви оградою. Главною идеей этого сооружения сложенного из массы отдельных зданий было чествование предков и в особенности из боярского рода Колычевых, высшим представителем которых выступает в роли мученика московский митрополит Филипп.

В лукинский кремль вступаем чрез проезжую башню над воротами которой устроены так называемые «боярские палаты» в стиле московских царских теремов. Вместо двора перед домом большой круг густо обсаженный высокими деревьями. В его центре высокий каменный обелиск весь испещренный именами предков владельца усадьбы. Самый дом снаружи не представлял ничего особенного. Он был двухэтажный но большая зала обращенная в гостиную в два яруса и все стены ее сверху до низу были увешаны в несколько рядов фамильными портретами. На правой стороне от фасада в нижнем этаже кабинет и спальня Михаила Львовича, а в верхнем так называемые «архиерейские покои», изящно и с некоторой роскошью убранные, и отдельно от них монашеская келья, в скромном и убогом виде соответствующем ее аскетическому назначению, для приезжих монахов или мона[хинь]…

***

Судьба архитектурных построек «переделкинских земель» была трагична.

К 1920 году сгорел главный усадебный дом в Лукине, а само имение было включено в состав советских хозяйств и вошло в Козловскую волость Московского уезда. 11 мая 1921 года усадьба Боде-Колычёвых вместе с постройками была передана Московскому отделу народного образования (МОНО) Хамовнического района Москвы для организации детской колонии. Далее, постройки, которые ещё не успели разрушить, занял шахтёрский санаторий. К этому времени из исторических зданий, кроме Преображенского храма, уцелела только аркада переднего фасада господского дома и ограда с башнями и Теремом над воротами.

В 1920–1930-е годы в сохранившихся усадебных зданиях размещалось правление совхоза. По одним сведениями, Преображенская церковь в 1930-х годах была закрыта, по другим — службы в храме в советское время не прекращались. Доподлинно известно, что уже в 1949 году Преображенская церковь снова обрела жизнь и какое-то время действовала в качестве подворья русского афонского монастыря.

В 1940–1950-е годы усадьба Боде-Колычёвых входила в состав территории Интерната старых большевиков Министерства социального обеспечения РСФСР. С 1952 года в усадьбе стала располагаться резиденция Патриархов Московских и всея Руси. В настоящее время исторические архитектурные постройки являются выявленными объектами культурного наследия; создаётся проектная документация для сохранения и реставрации памятника.

В главном усадебном доме в Измалкове с начала 1920-х годов располагалась Детская санаторная колония, затем превращённая в туберкулёзный санаторий, в послевоенное время ставший Детским санаторием № 39.

В 2000 году санаторий был выведен из усадебного дома, а здание оказалось заброшенным. Начавшаяся реставрация не закончена по сей день.

***

Иллюстрации

Стр. 8 — Ю.П. Ерёмин. Лукино.
Негатив, 1920-е гг.
Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим».

Стр. 10 — Ю.П. Ерёмин. Лукино. Церковь.
Негатив, 1920-е гг.
Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим».

Стр. 11 — Ю.П. Ерёмин. Лукино.
Негатив, 1920-е гг.
Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим».

Стр. 12 — Ю.П. Ерёмин. Лукино. Пруд.
Негатив, 1920-е гг. Авторский отпечаток, до 1948 г.
Государственный музей А.С. Пушкина. Собрание Ю.Б. Шмарова.

Стр. 14 — А.Д. Гринберг. Лукино. Проезжая башня в виде «русского терема».
Негатив, 1920-е гг.
Мультимедиа Арт Музей, Москва (Мультимедийный комплекс актуальных искусств).

Стр. 15 — Ю.П. Ерёмин. Павильон в Измалкове [на самом деле — в Михалкове].
Негатив, 1920-е гг. Авторский отпечаток, до 1948 г.
Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим».

Стр. 16 — А.Д. Гринберг. Лукино. Неизвестные у крыльца Преображенской церкви.
Негатив, 1920-е гг.
Мультимедиа Арт Музей, Москва (Мультимедийный комплекс актуальных искусств).

Стр. 17 — А.Д. Гринберг. Лукино. Ворота церкви.
Негатив, 1920-е гг.
Мультимедиа Арт Музей, Москва (Мультимедийный комплекс актуальных искусств).

Стр. 18 — Н.И. Свищов-Паоло. Имение Боде. 1920-е гг.
Фомин, А. Светопись Н.И. Свищова-Паола. М.: Искусство, 1964.

Стр. 20 (вверху) — Измалково. Усадебный дом. Начало XX в.
Из архива А.В. Комаровской. Коллекция М.В. Золотарёва.

Стр. 20 (внизу) — Измалково. Усадебный дом со стороны пруда. 1925 г.
Фотографическая коллекция ОИРУ.
Государственный музей А.С. Пушкина. Собрание Ю.Б. Шмарова.

Стр. 21 — Измалково. Статуя Зевса (?) в парке. 1925 г.
Фотографическая коллекция ОИРУ.
Государственный музей А.С. Пушкина. Собрание Ю.Б. Шмарова.

Стр. 22 — Лукино. Преображенская церковь. Начало XX в.
Из архива А.В. Комаровской. Коллекция М.В. Золотарёва.

Стр. 23 — Лукино. Преображенская церковь. 1925 (?) г.
Фотографическая коллекция ОИРУ.
Государственный музей А.С. Пушкина. Собрание Ю.Б. Шмарова.

Стр. 24 — Н.Д. Виноградов. Усадьба Лукино. Парк. Скульптура.
Негатив, 1920-е гг.
Музей архитектуры имени А.В. Щусева.

Стр. 25 — Н.Д. Виноградов. Усадьба Лукино. Парк. Скульптура. Общий вид.
Негатив, 1920-е гг.
Музей архитектуры имени А.В. Щусева.

Стр. 26 — Н.Д. Виноградов. Усадьба Лукино. Парк. Скульптура. Общий вид.
Негатив, 1920-е гг.
Музей архитектуры имени А.В. Щусева.

Стр. 28 — А.Т. Лебедев. Усадьба Измалково. Церковь Димитрия, митрополита Ростовского (1757 г., разобрана в 1930-х гг.). Общий вид с севера. 1930-е гг.
Музей архитектуры имени А.В. Щусева.

Стр. 29 — А.Т. Лебедев. Лукино. Преображенская церковь.
Авторский отпечаток. 7.VII.1933 г.
Частное собрание.

Стр. 30 — А.Т. Лебедев. Лукино. Часовня митрополита Филиппа.
Авторский отпечаток. 7.VII.1933 г.
Частное собрание.

Стр. 37 — В.А. Комаровский. Икона Донской Божией Матери.
Свято-Данилов монастырь, Москва.

Лукино. Преображенская церковь. Начало XX в.
Из архива А.В. Комаровской. Коллекция М.В. Золотарёва.

Дзётаро Ота

Корней Чуковский и Томико Инуи: История в письмах[1]

[От Редакции]

Японский славист, профессор Дзётаро Ота в Переделкине оказался не случайно. Уже более тридцати лет он занимается русской литературой. Творчество Александра Блока, Андрея Белого, Евгения Замятина, Корнея Чуковского, Михаила Зощенко — вот лишь малая часть научных интересов Ота.

В 1989 году он работал переводчиком Булата Окуджавы, приехавшего с концертом в Японию (Окуджава упомянул об этом в своём рассказе «Как Иван Иванович осчастливил целую страну»). А в 2017 году в архиве советского япониста Ирины Кожевниковой Ота обнаружил письма японской писательницы Томико Инуи к Чуковскому. Тогда же, во время очередного визита в Россию, Ота приехал в Переделкино и с тех пор стал в посёлке желанным гостем.

В марте 2020 года в Японии увидела свет книга Ота, посвящённая архиву Кожевниковой. В книгу вошли и письма Инуи. В настоящей статье они впервые публикуются на русском языке.

Японская детская писательница Томико Инуи (1924–2002) дважды посещала с визитом переделкинский дом Корнея Чуковского — в 1963 и 1964 годах. Инуи была восхищена встречей с автором «Крокодила», «Айболита» и «Бибигона», и это знакомство поменяло направление её литературной деятельности.

Сам упомянутый эпизод — не большой, не очень известный даже в Японии, но важный, поскольку

[1] Статья написана на основе лекции, прочитанной в Доме-музее Корнея Чуковского 5 сентября 2019 года. Орфография и пунктуация цитируемых документов сохранены. — *Прим. ред.*

японская литература нового времени всегда училась у русской литературы; училась тому, о чём и как писать современным авторам после «модернизации» и «европеизации» в обществе, которое только старалось отбросить свой старинный облик.

Письма Инуи к Чуковскому[2]

Томико Инуи работала редактором в отделе детских книг в издательстве «Иванами-Сётэн» в Токио. Однажды, в 1958 году, она прочитала частичный перевод книги Чуковского «От двух до пяти» на японский и обрадовалась — ей показалось, что в её жизни появился впервые человек, который истинно понимал детей и воспринимал их игры с глубоким участием, но при этом вовсе не с педагогической или дидактической целью. Корней Иванович в книге рассказывал о забавных, не совсем понятных, но «творческих» детских словах.

24-го ноября 1961 года Инуи впервые отправила письмо автору «От двух до пяти»:

Уважаемый Корней Иванович!

Разрешите мне обратиться к Вам с настоящим письмом. <…>

Склонность ребенка к загадочной закономерности мышления, о которой Вы показываете многими примерами в этой книге, находится и среди японских детей. Я иногда удивляюсь, что я не заметила этого до тех пор, пока я не прочла этой книги. Я не знаю ни одной такой подходящей книги о сказках и рассказах для ребенков, какой является Ваша «От двух до пяти». Ваша книга очень воодушевила нас, молодых, которые являются редакторами детских книг и сами начинают писать для детей. <…>

Когда-то я увидела Ваш перевод книги Лофтинга «Рассказы доктора Доллитла» на русский язык для советских детей. Теперь у нас в издательстве «Иванами» выходят «Сочинения Доллитла», которые очень любят японские дети.

Нашим издательством вышли следующие детские книги советских авторов: «Сказка о глупом мышонке», «Двенадцать месяцев», «Горя бояться — счастья не видеть» Маршака, «Витя Малеев в школе и дома» Носова, «Девочка из города» Воронковой, «Стожары» Мусатова,

[2] В моём распоряжении имеются оригиналы двух писем Инуи к Чуковскому на японском языке (от 23 августа 1963 и от февраля 1964 гг.), которые обнаружились среди старых документов Канако Танака (1931–1999), исследовательницы советской детской литературы, которая долгое время была переводчицей Инуи. В настоящее время другие письма Инуи к Чуковскому (с русскими переводами и фотографиями) хранятся в Российской государственной библиотеке. В архиве Чуковского (Ф. 620) находятся в общей сложности тридцать пять писем японской писательницы, отправленных с 1961 по 1969 гг. См.: НИОР РГБ Ф. 620. К. 105. Ед. хр. 8–9. — *Здесь и далее прим. авт.*

«Васек Трубачев и его товарищи» и другие. Дети Японии очень любят эти произведения.

Я знаю, что Вы сами пишете интересные произведения для младшего возраста детей. Я надеюсь, чтобы мы смогли ознакомлять японских детей с Вашими произведениями в будущем.

Где Вы живете? Какими произведениями Вы занимаетесь сейчас? От души желаю Вам здоровья и успехов в Вашей благотворной работе для детей во всем мире.[3]

Так началась переписка японской детской писательницы с русским детским писателем, продлившаяся восемь лет. В то время мало знали про Корнея Чуковского в Японии.

Нельзя забывать, что до издательской деятельности Инуи долго работала в детском саду. «В книге ["От двух до пяти" — *Д.О.*] мне показалось обаятельным то, что автор постигал детей в постоянной динамике, не считая их незрелыми маленькими людьми», — позднее вспоминала Инуи[4]. В итоге, она захотела лично познакомиться с автором.

Её первая встреча с Чуковским осуществилась в Переделкине 20-го июля 1963 года. С тех пор Инуи всю жизнь считала Корнея Ивановича своим «единственным хорошим учителем», вспоминала его с уважением и любовью.

23-го августа 1963 года Инуи отправила Чуковскому второе письмо:

Здравствуйте, Чуковский-сан, как поживаете?

Уже месяц прошёл с тех пор, как я посетила Ваш домик под Москвой. Я живо вспоминаю весёлый вечер у Вас словно как вчерашний день. <…>

Я коллегам часто рассказывала о Вашей милой библиотеке. Они очень радостно слушали мой рассказ — Момоко Исии [переводчица «Винни-Пуха» Милна — Д.О.] и Тэйдзи Сэта [переводчик «Властелина колец» Толкина и «Хроник Нарнии» Льюиса — Д.О.], которые сами заведуют маленькими домашними библиотеками для детей. Момоко Исии говорила, что Вашу работу высоко оценивают и в США.

По возвращению домой я снова читала Вашу книгу «От двух до пяти». С радостным удивлением я почувствовала, что в самом деле слышу там Ваш живой голос. Искренне надеюсь, что Ваши произведения

[3] НИОР РГБ Ф. 620. К. 105. Ед. хр. 8. Л. 3. Русский перевод сделан, вероятно, Канако Танака, которая присутствовала у Чуковского при первом визите Инуи в Переделкино.

[4] *Инуи, Томико* Путешествие по сирени и берёзам [Рира то Сиракава но Таби]. Токио, 1970. С. 222 [на японском языке]. Здесь и далее, если не указано иначе, перевод мой [Д.О.].

будут переведены на японский, и наши дети будут принимать их с радостью.[5]

Японская писательница была глубоко тронута встречей с Корнеем Чуковским. Её тёплое и эмоциональное отношение заметно и в письме от 4-го декабря 1963 года:

Когда я видела Вас вечером 20-го июля и слышала Ваш добрый голос, на глазах у меня выступили слёзы от радости. К удивлению, я чувствовала, что Вы единственный хороший учитель для меня. <…> Мы проводили с Вами только два-три времени, но мне кажется, что я проводила с Вами целый месяц, потому что Вы любезно встретили нас как свои родные дочери. Нам кажет[ся], что мы вошли в дом великана и угостились волшебным обедом.[6]

В тот день, 20-го июля 1963 года, Инуи и Танака, вместе со знакомыми японистами Аллой Коломиец и Ириной Кожевниковой (обе были ученицами Веры Марковой), приехали к даче Чуковского в половине девятого вечера. Инуи писала в письме, что она провела с Корнеем Ивановичем два-три часа. Как известно, Чуковский, страдая бессонницей, рано ложился спать. По письму Инуи оказывается, что тогда он должен был лечь в постель около полуночи. Наверно, он был в большом восторге от посещения гостей из такой далёкой страны, как Япония, и вряд ли смог спокойно уснуть после этого.

Чуковский с гордостью показал японским гостьям детскую библиотеку, которую создал осенью 1957 года рядом со своей дачей. Его маленькая библиотека очень понравилась Инуи. Кстати, почти одновременно открыла в Токио домашнюю детскую библиотеку Момоко Исии (1907–2008), писательница и переводчица англо-американской детской литературы. Она создала свою библиотеку в марте 1958 года, впервые после войны в Японии. Её примеру последовал годом позже и Тэйдзи Сэта (1916–1979). Инуи постоянно с ними общалась и не могла не провести параллелей с их деятельностью, рассматривая библиотеку в Переделкине.

Томико Инуи всю жизнь вспоминала слова Чуковского: «Когда писатель читает детям книги, он очень много от них получает. У Вас, конечно, тоже есть такой случай, когда читаете вслух, с музыкальным голосом, детям книжки?»[7]. Эти слова оказали на неё сильное впечатление. Вернувшись домой, она сама начала планировать домашнюю детскую библиотеку. В Токио её библиотека «Мушка» (названная по её собственной повести о белых

[5] НИОР РГБ Ф. 620. К. 105. Ед. хр. 8. Л. 4. Под русским переводом проставлена дата: 10 сентября 1963 года.
[6] НИОР РГБ Ф. 620. К. 105. Ед. хр. 8. Л. 6.
[7] *Инуи, Томико* Путешествие по сирени и берёзам… С. 114.

медвежатах «Мушка и Мишка в Арктике») была открыта в апреле 1965 года в районе Нэрима, Токио. Корнею Чуковскому Инуи писала (16-го апреля 1965 года):

Как раз Вы занимаетесь обаятельной, прекрасной библиотекой в Переделкине, так и я начала маленькую библиотеку «Мушку» с 10-го апреля. <…> Вы меня научили той важности того, чтобы детские писатели непосредственно соприкасались, общались с детьми. Совершенно прекрасно — читать вслух книги вместе с многими ребятами![8]

Деятельность Инуи и сейчас продолжают её ученики, которые ходили в её библиотеку и непосредственно слушали, как писательница им читала вслух книги.

Есть ещё одно письмо Инуи, на сей раз не датированное, но отправленное, видимо, в феврале 1964 года[9]:

Уважаемый Чуковский-сан!
Как живете?
У меня к вам радостная новость.

[8] НИОР РГБ Ф. 620. К. 105. Ед. хр. 9. Л. 33.

[9] Дата его написания угадывается по нескольким сведениям в письме. (1) Инуи пишет о желании участвовать в международной конференции детских писателей в Праге, в июне 1964 года. (2) Она рассказывает Чуковскому про переиздание японского перевода «От двух до пяти» (с исправлениями и дополнениями) в том же году в Токио. (3) Она упоминает про интервью Никиты Толстого (физика, сына Алексея Толстого и отца писательницы Татьяны Толстой) в Токио, которое было напечатано в газете «Асахи» 2-го февраля.

Недавно в Токио вышло новое издание Вашей книги «От двух до пяти». Перевел его — Сиро Минаминобу. Перевод был исправлен и дополнен главой, не напечатанной в предыдущем издании. Это глава, в которой Вы изложили, как маленькие дети воспринимают забавную игру «непонятных» слов. Я с Вашими находками полностью была согласна. Очень счастлива, что могу теперь Вам отправить этот новый японский вариант «От двух до пяти».

Вы писали, что Вам рассказал о своих впечатлениях от Японии сын А. Толстого. Я читала о его визите в Японию в газете[10]*. В газетном интервью он рассказывал, что уже больше 200 раз*[11] *отвечал на такой вопрос, заданный японцами — «какая у Вас связь с Л. Толстым?»*

Издательство Иванами, где я работаю, планирует выпустить сборник «Русских народных сказок», пересказанных А. Толстым, в июне 1964 г. с иллюстрациями — Евгения Рачёва. Очень весело, представляете, как в этой книжке японские маленькие детки будут знакомиться с лисицами, медведями, волками из ваших сказок!

Иллюстратор моей книжки «Длинный рассказ о пингвинах» — Сабуро Ямада. Он любит животных, рисует картинки к книжкам, в которых действуют в качестве главных героев звери.

И последнее — у меня к Вам еще одно сообщение. Может, в конце мая я смогу поехать в Москву. С 9 по 11 июня в Праге состоится международная конференция по детской литературе, и меня туда пригласили. Если получится, я намерена отправиться в Чехословакию в конце мая через Москву — тогда я смогу с Вами опять повидаться! Вы будете в Москве в это время? Примете ли меня с радостью? Если с Вами не смогу увидеться, счастье от этой поездки сбавится на половину — даже больше. Пока всё не решено, поэтому намерена была молчать, но не смогла не написать Вам об этом! Если всё это сбудется, и я смогу с Вами увидеться, то буду безумно счастлива![12]

18-го июня 1964 года вторая встреча осуществилась. О пребывании Инуи в Переделкине Корней Чуковский писал в тот день в дневнике:

Только что уехала от меня милая Инуи, подарившая мне ту ручку, которой я пишу сейчас. Книжки её детские (проза) написаны под сильным английским влиянием — я устроил в детской библиотеке выставку её книг, несколько её портретов. Она надела кимоно, и мы пошли с нею по улицам Переделкина. Вместе с нею приехали: студент и

[10] «Асахи-Синбун» [Газета Асахи] от 2 февраля 1964 года, веч. вып. С. 3 [на японском языке].
[11] В интервью физик отвечал: «Вопрос — уже в 200.000-й раз!».
[12] НИОР РГБ Ф. 620. К. 105. Ед. хр. 8. Л. 13.

студентка университета Дружбы — Ясуко Танака и Юза Танако [Юзо Танака — Д.О.] (муж и жена) и Ирина Кожевникова из «Советской женщины». Я пригласил Веру Никол. Маркову и ее мужа Леонида Евгеньевича [Фейнберга — Д.О.]. Маркова, отличная переводчица, бегло говорит по-японски. У Инуи прелестный смех — такого я никогда не слыхал, как будто она решила засмеяться, но на половине бросила, раздумала. Что-то есть в её смехе младенческое. Мы пошли в Дом творчества — к Марковой, там японцы спели несколько народных японских песенок — в маленькой комнатке. Потом пошли к Лиле Брик[13] *и Катаняну и пригласили Новеллу Матвееву, она спела: «Какой большой ветер» и «Окраину».*[14]

Детская литература: японская и русская

По возвращении в Японию Инуи сразу, 26-го июня 1964 года, отправила письмо Чуковскому. Примечательно, что Корней Иванович подарил ей кольцо с настоящим аметистом. Лесной хозяин (или Леший) Переделкина подарил японской девушке

[13] Примечательно, что японцы обрадовались встрече с «легендарной подругой Маяковского», а Вера Маркова про Лилю Брик записала очень отрицательно в неопубликованном дневнике (18-го июня 1964 года): «Приехала японка Инуи Томико с другой японкой, молоденькой, изучающей Маяковского [Ясуко Танака — *Д.О.*]. <…> Побывали в коттедже у Лили Брик. Крашеная, ярко намазанные губы, узкие брюки и высокие чёрные сапоги. Она внушает мне отвращение — и я ничего не могу с этим поделать» (РГАЛИ. Ф. 2841. Оп. 1. Ед. хр. 65. Л. 17 об.–18).

[14] *Чуковский, Корней* Дневник 1936–1969. М., 2012. С. 388.

«аметистовую перстень»[15] — эпизод напоминает «Двенадцать месяцев» Самуила Маршака.

От Ирина-сан [Ирины Кожевниковой — Д.О.] я узнала, что Вы мне подарили кольцо. Большое, большое спасибо! <…> Пожалуйста, передайте горячий привет Марковой-сан [Вере Марковой — Д.О.], молодой талантливой поэтессе [Новелле Матвеевой — Д.О.] и другим, с которыми я встретилась. Я навсегда помню прекрасный летний день в так пахучем лесу. <…> Передайте горячий привет Вашему внуку [Дмитрию Николаевичу? — Д.О.], который провожал нас до станции.[16]

А вот письмо Инуи к Чуковскому от 15-го июля 1964 года:

Уважаемый Чуковский-сан!

Как Вы живете и как работаете?

Я уже Вам послала через студентку Танака-сан [Ясуко Танака — Д.О.] некоторые фотографии, на которых я снята вместе с Вами. Вы их получили? <…> Фото, где мы сняты на фоне сирени — особенно мне нравится, несмотря на несовершенство съёмки. Я часто вспоминаю этот запах сирени в Вашем саду.

Я была очень рада увидеть у Вас много интересных книг, в том числе: E.B. White "Charlotte's Web". Потому что мне очень нравится английская и американская фантастическая литература. Наверное, Вы читали P.L. Travers "Mary Poppins", Mary Norton "The Borrowers". <…>

Я говорила Вам о своём желании побывать в Англии. Но, к сожалению, я ни разу там не была и знаю об этой стране только по книгам. С английской литературой я знакома по переводам с 1930 года: например, "Mother Goose", "Peter Pan", "Gulliver's Travels". <…>

Я посылаю Вам список книг, изданных в издательстве «Иванами-Сётэн». Познакомьтесь с этим списком, чтобы узнать какие советские книги нравятся японским детям. <…>

С чувством глубокой печали я только что узнала о смерти советского уважаемого поэта С. Маршака, с которым вместе с Вами была создана советская детская литературная основа. Когда я встретилась с С. Маршаком, очень беспокоилась о его здоровье.[17]

На это письмо от японской писательницы Корней Иванович, видимо, сразу написал ответ (10-го августа 1964 года), поскольку в книге Инуи «Путешествие по сирени и берёзам» часть его письма была процитирована:

---

[15] НИОР РГБ Ф. 620. К. 105. Ед. хр. 8. Л. 28.

[16] Там же. Л. 20 (автор русского перевода письма неизвестен).

[17] Там же. Л. 17 (автор русского перевода письма неизвестен). Соболезнование о Маршаке было написано рукой переводчицы (Канако Танака?).

<…> Благодарю Вас за японскую карту[18]*. Я её сразу повесил в нашей библиотеке. Теперь я могу узнать по карте, где находится Ваш прекрасный Токио, и где Йокогама, Тиба, Нагоя… Ваш список «библиотеки молодых людей» [«Иванами Сёнэн-Бунко» — Д.О.], который Вы когда-то мне показали — отличный. В списке я читал на русском «Детство Никиты» А. Толстого, «Историю развития человечества» Ильина, «Руслана и Людмилу» Пушкина, «Тимура и его команду» Гайдара, «Витю Малеева в школе и дома» Носова и др. Они мне очень понравились. У Вас в списке собраны и хорошие вещи из Швеции, Англии, Франции и пр.*

В своё время Горький попросил меня и Тихонова, чтобы составить план публикации детских книг. В лист нашей публикации были включены «Остров сокровищ», «Дон Кихот», «Король Артур», «Баллады о Робин Гуде», которые видны у Вас в списке… Я ещё не поправился от горечи смерти Маршака. Мы с ним общались 40 лет (либо больше), меня забавляли его произведения. Я гордился дружбой с ним. И он мне часто читал свои рукописи.[19]

Перелистывая список японских детских книг из «Иванами-Сётэн», Чуковский вспомнил, как они с Горьким начали планировать выпуск самых лучших детских книг в мировой литературе. Как ни странно, совсем параллельно с русской, японская детская литература (не только произведения Инуи) была создана под сильным влиянием англо-американской детской литературы в начале XX века. Надевая мантию и квадратную шапочку, подаренные в Оксфорде, Корней Иванович, должно быть, с жаром рассказывал японской гостье о своём пребывании в Лондоне и о любви к английской литературе. Это было бесценной встречей представителей двух детских литератур, хотя прямого влиятельного отношения между ними не сложилось.

Для того, чтобы зафиксировать приятную память в Переделкине, Инуи принялась за рассказ «Семь журавликов». Писательница посвятила своё сочинение Чуковскому — «весёлому колдуну». Уже в октябре того же 1964 года рассказ был опубликован в журнале «Японская детская литература» («Нихон Дзидо Бунгаку»).

В Японии пока не найдены ответные письма Чуковского к Инуи. По словам самой Инуи, у неё осталось в общей сложности двадцать писем от Чуковского. Среди семейных архивов имеется

[18] По воспоминаниям Инуи, Корней Иванович попросил у неё карту Японии во время посещения его детской библиотеки в июне 1964 года: «Хочу одну карту Японии. Хочу её приклеить здесь и смотреть с детьми» (Инуи, Томико Путешествие по сирени и берёзам… С. 115).
[19] Там же. С. 120–122.

одно письмо японской писательницы к Л.К. Чуковской (от 8-го июля 1971 года). В июне же 1971 года, уже после смерти Корнея Ивановича, Инуи в третий раз посетила Переделкино.

<…> Очень жаль, что я не смогла видеть Вас в Москве. У меня только одно утешение, что мне удалось посетить могилу Корнея Ивановича в Переделкине (20-го июня). Не знаю, как передать Вам мои переживания, когда я снова посетила то дачное место, где уже не было уважаемого, любимого писателя. Как мне хотелось видеть Вас там, в Переделкине!

У меня двадцать писем от Корнея Ивановича, одно из которых благодарственное за посылку отрывка из моей книжки «Поездка по стране сирени и березы». Я всегда готова послать Вам эти письма, когда они станут Вам нужными, чтобы составить книгу, посвященную творчеству и жизни Корнея Ивановича.[20]

А вот следующее письмо Инуи, от 13-го сентября 1964 года:

Дорогой господин Корней Иванович Чуковский!

Я получила с радостью ваше письмо.

Как Ваше здоровье? Думаю, что Вы были нездоровы от горя о смерти С. Маршака. Желаю, чтобы Вы срочно выздоровели. <…> Я сочувствую Вашему горю о смерти лучшего друга.

Я попросила г-же Алле Сергеевне Коломиец, чтобы передать Вам японские старые куклы. Эти куклы называются по-японски «Охина-сама». Японские девочки украшают их в день праздника куклы (3-го марта). Пожалуйста, покажите детям, которые приходят читать в Вашу библиотеку эти куклы. Потом я подарила Вам счастливый красный платок. Белый рисунок на платоке — японская буква [т.е. иероглиф — Д.О.]. Эта буква «Котобуки» 壽 значит долголетие и счастье. А другая малая буква — моя фамилия «Инуи» 乾. Я очень рада, что японская карта Вам очень понравилась. <…>

Большое спасибо за Ваше мнение о нашем литературном собрании для мальчиков и девочек. Слушаю, что 40–50 лет назад М. Горький знакомил хорошие детские произведения всех стран с детьми Советского союза. Думаю, это очень прекрасный важный труд.[21]

Единственное опубликованное письмо Чуковского к японской писательнице (от 27-го февраля 1965 года) подтверждает возможное существование их переписки. Это письмо, хотя пока единственное, словно отзывчивым эхом перекликается с текстом

[20] РГАЛИ Ф. 3390. Оп. 1. Д. 443. Л. 1–2. Перевод на русский: Канако Танака.
[21] НИОР РГБ Ф. 620. К. 105. Ед. хр. 8. Л. 25–26 (автор русского перевода письма неизвестен).

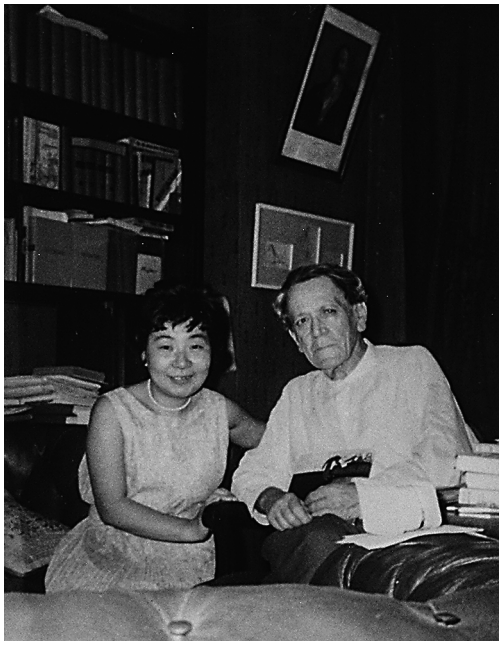
писем Инуи, напоминает, как они дружески встречались и общались в Переделкине.

Дорогая Госпожа Томико Инуи-сан!

<…> Я пишу эти строки Вашим японским пером, предо мною на столе куклы «Охина-сана». На шее у меня Ваш платок с японской буквой «Котобуки» и с Вашей фамилией «Инуи». Но смотрю на японский календарь, который Вы мне подарили, и над головой у меня висят журавлики, которые сделаны Вашими руками. <…> Мысленно гуляю вместе с Вами в Токио по Сукиябаси, потом иду вместе с Вами на улицу книжных магазинов Канда, потом мы вместе посещаем издательскую фирму Иванами Шотен и там я знакомлюсь с г-жой Момоко Исии-сан и господином Тейдзи Сэта-сан.[22]

Эти куклы, как и семь журавликов, сложенных руками Инуи, и японскую карту до сих пор можно увидеть в кабинете Чуковского в его Доме-музее в Переделкине. Куклы стоят на его рабочем столе, журавлики висят под абажуром, а карта висит на двери.

Между прочим, существует записка с переводом на японский письма Маршака к Инуи, обнаруженная в архиве Канако Танака. Согласно путевым заметкам, Инуи посетила квартиру Маршака 17-го июня 1964 года, только за полмесяца до того, как Самуил Яковлевич скончался. Писатель ей подарил экземпляр своей книги «В начале жизни». Инуи ему (точно так, как в рассказе «Семь журавликов») подарила японскую куклу. Маршак написал ей письмо (либо дарственную надпись на книге):



Уважаемая Томико Инуи-сан!

Благодарю Вас за прекрасный подарок!

Милая японская кукла сейчас стоит у меня на столе.

Она мне напоминает Вашу родину — далекую страну Поэзии.

[22] *Чуковский, Корней* Собрание сочинений. Т. 15. М., 2013. С. 564–5. Ошибки в японских фамилиях мной исправлены.

Я хочу послать Вам искренний привет и подарить одну из моих книг на память.

В этой книжке я рассказал о моих детстве и отрочестве.

Я очень рад тому, что мои книги давно читают японские дети.

Я считаю, что это всё благодаря Вам и Вашему издательству Иванами.

Искренне желаю Вам счастья и здоровья!

С глубочайшим уважением,

С. Маршак

Кажется, мы словно слышим в этом тексте живой голос Маршака, который в тот момент уходил из этого мира.

«Песнь о чайках»

Чуковский буквально был влюблён в японскую писательницу до того, как прочитал перевод повести Инуи «Песнь о чайках» (1968). Перевели её на русский уже упомянутые Ирина Кожевникова и Алла Коломиец.

«Хорошо, что вы пишете о медвежатах, пингвинах, моржатах, — однажды сказал Корней Иванович Инуи. — Но почему бы Вам не написать книгу о жизни японских детей? Советским ребятам было бы интересно её прочитать».

Томико Инуи запомнила слова Чуковского. После рассказа «Семь журавликов» она принялась за следующую повесть, которая на японском называлась «Небо чаек» («Уминэко но Сора»). Повесть была выпущена в 1965 году. Русским переводом на первых парах занималась сама Вера Маркова. Инуи писала Чуковскому (23-го ноября 1964 года):

<…> *Простите меня за долгое молчание. Я была очень занята, потому что я писала роман «Уминэко но Сора» (Небо и Буревестники). Я писала о жизни мальчиков и девочек в рыбацком селе в Японии. Думаю, что мой роман Вам и Советским детям понравится чем мои прежние сказки. Я подарю эту книгу Вам и госпоже Марковой, когда её будет издана. Я слушаю с удовольствием, что Вера Маркова будет переводить мою книгу на русский язык.*[23]

Сюжет повести такой. В маленький городок в северо-восточной области Японии каждый год возвращаются чайки со всех краёв страны — здесь их места гнездовий. С давних времён люди почитали чаек как святых посланников от покровителя рыбаков, морского бога. Однажды произошёл скандал — местное управление решило уменьшить их число, разрешив охотникам

[23] НИОР РГБ Ф. 620. К. 105. Ед. хр. 8. Л. 27. Русский перевод: Сидзуко Китахата.

отстрелить часть чаек. Чайки в этом заповеднике так размножились, что они приносили вред жизни людей — загрязняли дома и улицы, крали сушёные морские продукты у жителей. Началась бурная кампания протеста, журналисты из больших городов собрались в этом тихом, глухом месте. Ругали — почему вы не любите, не уважаете, не защищаете чаек? А местные люди с давних времён чаек всячески оберегали… Среди такого шума школьники в городке решили выпустить альбом с гравюрами чаек. В альбоме было запечатлено их сочувствие к чайкам и отражён совместный, дружный труд в жизни…

Примерно через месяц с даты отправки письма Инуи об «Уминэко» Вера Маркова отправила письмо Чуковскому (18-го декабря 1964 года):

Сейчас уже начинала читать и работать. И, прежде всего, необходимо заняться переводом произведений Томико Инуи. Она всё мне пишет — и я чувствую себя преступницей. Внимательно перечла все её повести и рассказы, которые у меня в руках. Отобрать что-нибудь ужасно трудно! Попробую перевести один рассказик про трясогузку [рассказ в книге Инуи «Песни с неба» («Сора кара-но Утагоэ») — Д.О.] и как только его отпечатают на машинке, вышлю Вам на апробацию.[24]

Судя по письмам Инуи, Чуковский содействовал выпуску русского перевода книги «Уминэко но Сора». Она писала Корнею Ивановичу 7-го февраля 1966 года:

Большое спасибо, что Вы много сделаете для моей книги, и Маркова-сан и Алла-сан [Коломиец — Д.О.] переводят мою повесть «Уминэко но Сора» (Чайка и небо). Мечтаю с радостью, что советские дети читают мою книгу.[25]

Однако Вера Маркова бросила перевод повести Инуи. Вместо неё продолжила переводить книгу Ирина Кожевникова[26]. Почему? Согласно неопубликованным воспоминаниям Марковой о Чуковском, прочитав текст перевода Инуи, он отозвался о нём крайне отрицательно. Сама Маркова так рассказывала об этом «разгроме»:

[24] НИОР РГБ Ф. 620. К. 108. Ед. хр. 10. Л. 1 об.
[25] НИОР РГБ Ф. 620. К. 105. Ед. хр. 9. Л. 7–8. Автор русского перевода письма неизвестен.
[26] 15-го августа 1966 года Ирина Кожевникова (она в то время пребывала в Токио, работая переводчицей на выставке Льва Толстого) писала знакомому писателю Тосио Симао (1917–1986), что ей придётся закончить перевод «Уминэко но Сора» до конца сентября. Её письма к японскому писателю хранятся в Музее новой литературы и сказки в городе Кагосима в Японии.

Корней Иванович охотно, с гордостью показывал созданную им детскую библиотеку. Там стояли японские книги для детей. Корнея Ивановича навещала японская детская писательница Томико Инуи. Она умела его очаровать мягкостью своих манер, приятностью беседы, искренностью своего энтузиазма. С тех пор он упорно настаивал, чтобы я перевела её книги, а я отказывалась, как могла. Наконец, мои бывшие ученицы [Кожевникова и Коломиец — Д.О.] перевели одну из её книг.

И вот — Чуковский позвонил мне по телефону. Он горел олимпийским гневом. Книгу разгромил окончательно и бесповоротно.

Да, Томико Инуи — писательница наивно-слабая, но с лучшими порывами души. Это в глазах Корнея Ивановича не искупало рыхлость, бесформенность и бездарность её книг.

— А как же я читал японскую книгу «Детский сад Тюльпан» [«Ия-Ия-Эн» Риэко Накагава — Д.О.], и это была отличная детская книжка?

— Но перевод обрабатывала Софья Прокофьева [дочь Марковой, жена сына композитора Сергея Прокофьева — Д.О.]…

— Тогда понимаю! — И вновь о бедной Томико Инуи. — Ах, она, негодяйка!

Плохая книга, вернее, беспомощная, каралась Корнеем Ивановичем быстро и беспощадно. Хорошо, что Томико Инуи ничего не знает и не узнает. Она приезжала на его могилу…[27]

Инуи так и не узнала об отклике Чуковского на свою книгу. Всю жизнь она сохраняла бесценную память о своём «единственном хорошем учителе». А на самом деле книги писательницы Томико Инуи теперь выглядят слишком наивными, старомодными, с трудом читаются. Они даже соприкасаются с «социалистическим реализмом», с темами не только общественных, но и глобальных проблем (ядерная бомба, кризис экологии, разрывы в обществе, в мире и тому подобное), о которых с жаром дискутировали японские либеральные интеллигенты в 1950–70 годах. «Хочу верить, что правдивый рассказ о солидарности и трудовой дружбе школьников в художественном кружке будет интересен и полезен также и для вас», — так писала Инуи в предисловии к книге «Песнь о чайках»[28].

О Чуковском когда-то рассказывала Лидия Гинзбург: «То, что он говорил человеку ласковые слова и в то же время или вслед за тем его поносил, — общеизвестно. <…> Главный его фокус парадоксально состоял в том, что он показывал двойное дно своих отношений»[29].

---

[27] РГАЛИ Ф. 2841. Оп. 1. Д. 64. Л. 16.
[28] *Инуи, Томико* Песнь о чайках: Повесть. М., 1968. С. 5.
[29] *Гинзбург, Лидия* Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., 2011. С. 299.

Марина Чуковская, жена его старшего сына Николая, также писала о Корнее Ивановиче: «Хвалил — безудержно, ругал — не щадя. Увлекался страстно и горячо, охладевал — полностью. <…> Жадно набрасывался на каждого нового человека, проводил с ним много времени, пока не раскусывал его до конца. И часто потом безжалостно отбрасывал от себя»[30].

Насколько правдивы такие оценки, судить сложно. Но одно можно сказать с уверенностью — Корней Иванович некоторое время действительно был увлечён японской гостьей. Его чувство к ней ослабело от её «бесформенного» и «бездарного» сочинения о чайках, но это вовсе не означает, что его роль в жизни Инуи изменилась. Нельзя забывать, что её ученики по-прежнему продолжают главное дело Инуи — её домашнюю детскую библиотеку «Мушка».

Во всяком случае, письма Томико Инуи к Корнею Чуковскому — ценнейший памятник русско-японского культурного и литературного обмена. Они свидетельствуют об искреннем уважении и любви к русской литературе, которые ещё со времён Льва Толстого демонстрировала японская читательская аудитория.

Иллюстрации

Стр. 43 — Корней Чуковский и Томико Инуи в Доме творчества в Переделкине, 18 июня 1964 года (НИОР РГБ Ф. 620. К. 105. Ед.хр. 8. Л. 29).

Стр. 47 — Ирина Кожевникова в библиотеке «Мушка» в Токио, 15 мая 1971 года (частный архив).

Стр. 49 — (слева направо) Вера Маркова, Ясуко Танака, Томико Инуи, Корней Чуковский, Ирина Кожевникова в Доме творчества в Переделкине, 18 июня 1964 года (НИОР РГБ Ф. 620. К. 105. Ед.хр. 8. Л. 30).

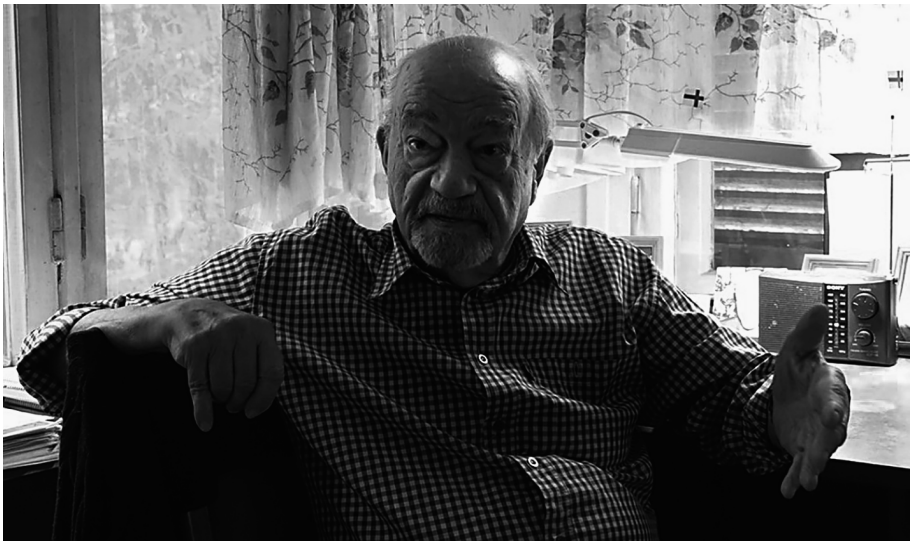
Стр. 53 — Томико Инуи и Самуил Маршак, 1964 (?) год (НИОР РГБ Ф. 620. К. 123. Ед.хр. 35. Л. 4).

Стр. 58 — Корней Чуковский и Томико Инуи в Доме творчества в Переделкине, 18 июня 1964 года (НИОР РГБ Ф. 620. К. 105. Ед.хр. 8. Л. 35).

[30] *Чуковская, Марина* В жизни и в труде // Воспоминания о Корнее Чуковском. М., 1983. С. 200.

Игорь Золотусский

Переделкино и русская литература



Семинар в Переделкине

Первый раз я оказался в Переделкине в конце марта 1961 года, на семинаре молодых критиков.

Было время, когда благодетели из Союза писателей РСФСР, по-настоящему заботливые и внимательные люди, рыскали по всей стране и выхватывали молодых талантливых литераторов из разных областей и республик. Я жил тогда в Хабаровске, и в Москву мне надо было лететь с двумя пересадками — в Омске и Иркутске. И представляете, какие были люди в Союзе писателей? Они даже оплачивали перелёт!

Конечно, были на этом семинаре и столичные писатели. Все мы были молоды, мне было тогда всего тридцать лет. Я был начинающим литературным критиком, причём, достаточно суровым. Присматривали за нами старшие товарищи-литераторы — среди них было много известных тогда людей, таких, как Александр Николаевич Макаров, Евгения Фёдоровна Книпович, Вера Васильевна Смирнова… С последней, между прочим, дружил Корней Чуковский, а жила она в Переделкине на углу улиц Павленко и Тренёва.

Участников переделкинского семинара разбили на группы по три человека и поселили в старом здании Дома творчества

писателей (комната при этом у каждого была своя). Я был в тройке с Олегом Михайловым, впоследствии тоже знаменитым критиком, и Валентином Хмарой, таким же, как и я, провинциалом. Вера Смирнова была нашим руководителем.

Всем нам было дано право самим выбрать задание, а именно: написать по критической статье на любую тему, своего рода итог нашей работы. Предполагалось, что когда мы закончим статьи, к нам съедутся заведующие отделами критики центральных журналов — «Нового мира», «Октября» и других — и будут выбирать то, что им захочется напечатать.

Вот на этих условиях мы блаженно существовали в Переделкине. Нас не только кормили, но и развлекали по вечерам — например, знакомили с писателями, жившими в посёлке. Так однажды состоялась и наша встреча с Корнеем Чуковским, который как раз жил совсем рядом с Домом творчества и часто туда наведывался. Он нами вообще страшно заинтересовался — хотел разузнать, кто мы такие, откуда. Рассказывал о том, какие ядовитые статьи писал в молодые годы, и довёл нас до состояния безудержного веселья рассказами о своей ранней работе литературного критика. Тогда я впервые увидел живого Чуковского, которого с детства любил не просто как писателя, но и как друга. На его книгах выросло всё моё поколение. Это было доброе влияние, весёлое и остроумное.

Тот далёкий 1961 год был особенным. Наш семинар совпал с полётом Гагарина в космос. Как ни странно, с конца марта стояла тёмная холодная погода, а потом, когда Гагарин взлетел, — вдруг солнечно стало, листья распустились! И мы ликовали вместе со всеми, а часть наших ребят поехала в Москву, где все на площадях кричали «Ура!».

В гостях у Чуковского

К концу апреля наше пребывание в Переделкине подошло к концу, и как раз тогда я и написал свою итоговую статью. Её, кстати, не взял ни один центральный журнал. Она не только была острая, но и больно ранила некоторых современных писателей. Называлась она «Рапира Гамлета», и в конце статьи я написал, что рапира — это, конечно, символ, но я думаю, что читатели меня поняли. Я был тогда молодой и непримиримый максималист. Всходила новая литература шестидесятых — тогда Аксёнов появился, Конецкий. О них много говорили, они были талантливые люди, но мне, воспитанному на классике, эта литература казалась жидкой, и я достаточно сурово об этом написал. А Гамлета я вспомнил в качестве примера — вот был когда-то в литературе Шекспир, а сейчас — Аксёнов.

Эта статья, забракованная всеми изданиями, произвела много шума в переделкинском Доме творчества. И конечно, Корней Иванович, обладавший чутким ухом, об этом услышал. Явился он в Дом творчества и давай меня разыскивать. А я, узнав, что Чуковский заинтересовался статьёй и мной, от страха и стеснения уходил всегда из своей комнаты и скрывался где-то. Или в Москву уезжал. Так продолжалось недолго, может быть, с неделю. И, в конце концов, Корней Иванович меня настиг! Он просто явился в тот час, когда я спал, и постучал.

Встаю я, спрашиваю: «Кто там?». Он говорит: «Чуковский». Сердце моё обмирает, конечно. «Можно к вам?» — «Сейчас, одну минуту, Корней Иванович, я оденусь». Он заходит ко мне и говорит: «Я хочу прочитать вашу статью. Пойдёмте ко мне на дачу». Он был быстрым, выглядел очень молодо для своих лет.

Я был просто убит тем, что мне придётся с самим Чуковским разговаривать. Несмотря на мой максимализм и достаточную уверенность в себе, перед ним я робел. Но мы пошли к нему домой — а это прямо напротив Дома творчества. Поднялись на второй этаж и прошли на веранду через его рабочий кабинет, который я успел мельком осмотреть. Был тёплый апрельский день. Он сел в кресло, предложил мне сесть рядом и сказал: «Ну-ка, давайте вашу статью!». Она у меня была отпечатана на машинке.

Я ему даю машинопись, он углубляется в неё и молчит. Читает, читает. Проходит, наверное, минут пять, и он говорит: «Вы знаете, я хочу перевести эту статью на английский язык». Тут у меня сердце совсем опускается от такого неожиданного предложения! Что я могу ему ответить? А он мне после этого говорит: «Бросайте всё и занимайтесь критикой. Это ваше дело!». Так он, по существу, благословил меня, за что я очень ему благодарен.

Он вообще облагодетельствовал меня этой нашей встречей, своим расположением, уверенностью в моих силах. Потом мы поговорили. Я не помню сейчас подробностей этого разговора, он был недолгим. В какой-то момент Чуковский ушёл в кабинет и вернулся с собственной книгой, подарил её мне. У меня подрастали тогда два сына, Серёжа и Гриша, и я попросил его надписать книгу для них. Он спросил: «А какого цвета у них волосики?». Я ответил: «У Серёжи русые, а у Гриши чёрненькие». И он написал на титульном листе: «Серёже беленькому и Грише чёрненькому от снежно-белого деда Корнея».

Когда мы спускались на первый этаж, из двери соседней комнаты выглянула Лидия Корнеевна и сурово посмотрела на меня. Помню, меня это смутило, я понял, какой она непростой человек. Корней Иванович довёл меня до двери, и вот так, с этой книжечкой, прижимая её к груди, я и ушёл от него. Что это была за книжка, я сейчас и не вспомню.

Союз писателей

Прилетел я домой в Хабаровск. Моя первая жена работала на только что открывшемся местном телевидении. Она меня уговорила выступить и рассказать о моей встрече с Чуковским — всё-таки это было неординарное событие для слушателя или зрителя. И я тогда впервые оказался перед телекамерой и рассказал всё буквально теми же словами, которыми рассказываю об этом сейчас.

Чуть позже, в 1963 году, я стал членом Союза писателей. У меня тогда не было ни одной статьи в центральных газетах и журналах, но были тексты моих выступлений по хабаровскому телевидению, набранные на машинке. Сначала меня приняли в Союз писателей в Хабаровске, но потом бумага пошла в Москву, а здесь в то время Хрущёв громил наших молодых литераторов. Хабаровские начальники тогда испугались. Они посчитали, что я не их человек, что я имел слишком категоричное мнение и строго судил о литературе, в том числе об их собственных писаниях. Они отправили в Москву телеграмму, чтобы приостановили моё дело о приёме в Союз. Дело приостановили. Но тогда был такой критик и литературовед Виктор Осипович Перцов, который писал о Маяковском. Он был на нашем семинаре в Переделкине, как и Евгения Книпович. Вдвоём они вычитали мои тексты, выступили в мою защиту, и я всё-таки был принят в Союз.

Корней Иванович был ещё жив, и, конечно, воспоминания о встрече с ним придавали мне тогда сил и уверенности в себе. Я стал много ездить, писать очерки для журналов. Некоторые издания, сначала областные, начали печатать мои статьи. И, наконец, журнал «Знамя» напечатал большую мою работу, которая называлась «Почерк войны». Это была статья о молодом блистательном писателе Юрии Бондареве*. Недавно, когда я был членом жюри Толстовской премии «Ясная поляна», я настоял на том, чтобы Бондареву за две его первых повести — «Батальоны просят огня» и «Последние залпы» — дали премию как за лучшие классические произведения современной литературы. Неважно, в каком году они были написаны. Девяностолетний Бондарев приехал и получил эту премию.

Советское Переделкино

Позже я стал наездами бывать в переделкинском Доме творчества.

Надо сказать, что Переделкино тех лет отличалось от нынешнего. Каких людей там можно было встретить! К нам приходил

* Юрия Васильевича Бондарева не стало 29 марта 2020 года, во время подготовки этого очерка к печати.

Ираклий Андроников, выступал перед нами, смешил нас. Его и Николая Вирту я помнил ещё по нашему семинару. Вирта был известным драматургом, лауреатом Сталинских премий. В «Известиях» о нём в те годы вышла статья как о некоем барине, который скачет на лошадях по Переделкину и живёт на своей даче, загородившись большим забором.

Разнообразная была писательская среда. Здесь жил и Каверин, с которым я потом, гораздо позже, познакомился и даже бывал у него дома. Здесь жил и Николай Атаров — в доме на углу улиц Серафимовича и Тренёва. В соседнем с ним доме жил некто Кривицкий, отпетый слуга партии. Он работал в Совинформбюро и однажды, прогуливаясь со мной, тогда ещё молодым человеком, сказал мне: «Что Симонов пишет в своем военном дневнике — это ерунда, он всё врёт!». Я спросил: «Почему?» — «А потому, что мы в Совинформбюро составляли ложные сводки, чтобы успокоить народ. Называли не те пункты, которые немцы уже взяли, а те, которые они ещё не взяли, где ещё шли бои».

Вот такие люди здесь тоже были. И конечно, по мере знакомства с ними я узнавал, кто, собственно говоря, представлял советскую литературу того времени.

Жизнь в Переделкине не была защитой от гнева власти, хотя многие из писателей были лауреатами Сталинской премии, а тогда Сталинская премия была гарантом неприкосновенности. Одному только Пастернаку она не досталась. О нём я узнал от жены Всеволода Иванова, советского классика, автора пьесы «Бронепоезд 14-69». Они с Пастернаком были соседями — он тоже жил на улице Павленко — а его жена, Тамара Владимировна, в прошлом очень красивая женщина, в ялтинском Доме творчества собирала группу писателей и рассказывала о жизни в Переделкине. Среди тех писателей оказался и я. Конечно, она всё знала о «нобелевских днях» Пастернака: видела с балкона своей дачи, как к нему прошёл Федин — уговаривать отказаться от Нобелевской премии. Видела, как через некоторое время Федин просто выскочил оттуда, вылетел. А у Пастернака на нервной почве на время отнялась рука.

Разумеется, эта «нобелевская эпопея» привлекла внимание всего мира к Переделкину. Посёлок в одночасье стал самым знаменитым местом Подмосковья. И престижным, как сейчас говорят, хотя я и не люблю это слово. Жить в Переделкине могли только великие люди. Я думаю, что отчасти это было неплохо, потому что великие люди, условно говоря, к тому времени были уже немолодыми — многие из них родились ещё до революции. На старости лет им было полезно жить на свежем воздухе, иметь огромные лесистые участки, по которым можно было гулять, как это любил делать Чуковский.

Вспоминая те годы, я каждый раз думаю, как важно для молодого ума, молодой души, молодого сердца встретить такого человека на своём пути как можно раньше, потому что это укрепляет тебя в сознании, что ты делаешь правильное дело, работаешь не зря. Что ты, наконец, можешь делать больше, а если и не дотянешься до таких замечательных людей, то, по крайней мере, тебе не стыдно будет перед ними появиться ещё раз.

В этом смысле Переделкино было школой для молодых талантов того времени. По праву оно занимает почётное место на карте России.

Переделкино сегодня

В 1990 году мне предложили работу редактора отдела русской литературы в «Литературной газете» — это был самый большой отдел. И как сотруднику этой газеты мне дали дачу в Переделкине, точнее, в соседнем Мичуринце, на улице Довженко. Я счастлив, что на склоне лет мне довелось жить здесь.

Позже, уже в 1996 году, я переехал на улицу Тренёва, в дом, где одно время жил Пастернак — это была первая дача, которую ему дали в Переделкине. Раньше в посёлке проходило огромное количество писательских встреч, мы чаёвничали вместе, говорили о литературе, о разных высоких предметах. Здесь жили и гостили люди непростого ума, прекрасного образования. Сейчас такого нет. Сейчас каждый, кто работает пером, живёт на своей даче уединённой жизнью. Я даже как-то написал стихотворение о

том, что я живу здесь забытым человеком, нигде и никому не нанося вреда.

Действительно, сейчас и само Переделкино живёт былой славой. Что будет дальше, сказать трудно, но отрадно то, что здесь есть музеи, в том числе, сохраняется Дом Чуковского, в котором мне приходилось бывать много раз, и который с молодости мне очень запомнился.

Помню, в центре рабочего кабинета Корнея Ивановича всегда стоял раскладной стол, на котором лежали и сейчас лежат книги, подаренные Чуковскому разными писателями в конце его жизни. И вот на этом столе я увидел книгу моего близкого друга из Болгарии, где я часто бывал, потому что оттуда родом моя мама. Называлась книжка «От близо», то есть «Вблизи», а автора звали Атанас Свиленов. Я стал её листать и нашёл там его статью о Чуковском. Атанас задал вопрос Корнею Ивановичу: «На кого он рассчитывает среди подрастающей смены?». И Чуковский назвал несколько имён, среди которых было и моё. Спустя много лет я думаю: «Как он мог меня вспомнить? Ведь через него проходило множество талантов». Вот так случилось, что он меня не забыл.

Тогда, на том семинаре, я и представить не мог, что спустя много лет буду каждый день видеть Дом Чуковского из окон своей переделкинской дачи. Отсюда слышно, как на его участке до сих пор проходят традиционные «Костры», как играет музыка и детские поэты читают свои стихи.

Однажды я был на праздновании Дня рождения Корнея Ивановича, когда ещё была жива его внучка и наследница Люша — Елена Цезаревна Чуковская. На этой большой встрече, которая по традиции проходит в Доме каждый год первого апреля, были люди, хорошо знавшие и любившие Корнея Ивановича. Это усиливало теплоту и дружественность. Чувствуется, что Дом продолжает жить и сейчас — и не только как музей.

Больше всего в Переделкине мне всегда нравилось гулять не по центральным улицам, а ближе к Мичуринцу. Но в последнее время Переделкино сильно изменилось. Я любил бродить вдоль совхозного поля, спускаться к речке и источнику, где мы брали питьевую воду. Как там весной пели соловьи! Центральная улица посёлка — улица Серафимовича — в шутку называлась Невским проспектом Переделкина, потому что на ней можно было встретить самых известных жителей посёлка. Многие улицы с советскими названиями, никуда не денешься: тут и улица Карла Маркса есть, и Энгельса. Все это осталось как память о тех временах, поэтому иногда не хочется по ним гулять. Но есть улица Лермонтова, есть улица Гоголя, на которой тоже жили знаменитые люди. Улицу Гоголя я люблю, конечно. Она короткая, но сразу выходишь на

длинную улицу Лермонтова и идёшь туда, к Довженко, где я когда-то жил.

Но вот иду я по улице Гоголя и думаю: есть музеи Бориса Пастернака, Корнея Чуковского, Булата Окуджавы — в тех домах, которые они когда-то занимали. А музея Гоголя, настоящего, у нас в стране нет. Я очень люблю Гоголя и много писал о нём, и когда был его юбилей в 2009 году, мы добивались, чтобы дом, в котором он жил и умер — на Никитском бульваре — целиком стал музеем. Но в этом доме библиотека, которая отказалась переезжать, и нам не удалось сделать то, о чём говорил еще академик Лихачёв — он хотел, чтобы весь дом отдали только под музей Гоголя. Россия должна быть благодарна этому писателю, и я считаю, что это будет справедливо, в первую очередь, по отношению к нашей литературе.

Как память о человеке, которого знают в России, любят и читают, должен обязательно существовать его музей.

Современная литература

Великая русская литература осталась, и она будет влиять на живущих в России людей. Сейчас, конечно, она почти забыта. Это тоже один из позоров нашей культурной жизни. Но я уверен, что следующее поколение будет отличаться — как и всегда бывает — от поколения нынешнего, которым овладела страсть к деньгам. Я думаю, что эта болезнь пройдёт, потому что болезни или проходят, или кончаются летальным исходом. Ну а летальный исход — это гибель страны, по существу. И я думаю, что культура для безопасности государства значит не меньше, а может даже больше, чем ракеты, которыми мы надеемся себя защитить.

Не так давно я был автором сценария и ведущим в документальном фильме о Тургеневе, который мы снимали для телеканала «Культура». Кроме всего прочего, в фильме шла речь о «Записках охотника». И при подготовке сценария я обратился к воспоминаниям одного современника Тургенева, который пишет о том, что когда Александр II прочитал «Записки охотника», то пришёл к мысли, что он должен освободить крестьян. Представляете, что значило тогда слово писателя? Цари не просто читали своих писателей — они им внимали! Правда, и писатели тогда были другие. Произошло измельчание в сфере культуры. Мы не знаем сейчас крупных талантов, которые имели бы авторитет и в литературе, и в обществе. Для обновления Переделкина, точнее, для возвращения его к изначальному предназначению, такие люди должны здесь появиться и жить.

А если возродится литература, встанет с колен и литературная критика, которая сейчас находится, как я считаю, в

плачевном состоянии. Сегодня литературный критик — это официант, который обслуживает писателя, а в моём представлении критик — это тоже писатель, который может влиять на умы. Это человек, прежде всего, очень талантливый, умеющий хорошо писать. И, несмотря на мнение верхов, он должен писать то, что считает нужным, и ничего не бояться. Он должен быть суверенен и не зависеть от подачки. Моему поколению, наверное, в этом смысле повезло. Мы, как грибы, выросли в такое время, когда нас окропил освежающий, помогающий росту дождь. Поэтому в моём поколении было так много талантливых людей и, в том числе, критиков. Лев Аннинский и Олег Михайлов, Алла Марченко и Владимир Гусев и многие другие — эти люди могли влиять на общественное мнение, которое существовало тогда.

Я считаю, что настоящих, талантливых критиков нужно находить где-то в глубине России. Пятьдесят километров от Москвы — это уже другая страна. А если идти дальше, дальше и дальше, то обязательно найдёшь таланты. И их надо поддерживать — не просто деньги им платить, а одобрять их, как некогда одобрил меня Корней Иванович. А потом, может быть, помогать им, собирать их вместе, воздавать им должное. Для этого нужно, чтобы государство уважало писательский труд и вообще имя писателя. Даже в советское время наши власти в своих выступлениях всегда цитировали классиков.

Я помню, как на партийном съезде, в начале 1950-х, Маленков, возглавлявший тогда правительство и партию, сказал: «Нам нужны советские Гоголи и Щедрины». А один немолодой поэт-юморист, Юрий Благов, которого я знал, написал в эпиграмме «Осторожный критик»: «…Но нам нужны / Подобрее Щедрины и такие Гоголи, / Чтобы нас не трогали». Вот мне кажется, что такие Гоголи нам нужны сейчас. Дело ведь не в том, чтобы подвергать власть разгромным суждениям и бороться ней. Речь идёт о самостоятельности мышления, совершенно независимого от власти!

Был такой великий, гениальный писатель Андрей Платонов. И он жил не в Переделкине — он жил со своей семьей в небольшой комнатке на Тверском бульваре, рядом с Литературным институтом. Платонов никогда не писал апологетических вещей о власти, и она ему воздавала за это тем, что жил он в бедности, что арестовали и отправили в Норильск его сына, где тот заболел туберкулёзом и, вернувшись, заразил отца. Так семья и была разрушена вот этим давлением сверху, недовольством, что талантливый литератор не обслуживает власть. И всё же, несмотря ни на что, Платонов был и остаётся самым крупным русским писателем XX века. Такова судьба нашей литературы и литераторов.

Не может быть, чтобы в огромной России не было талантов. Они были, они есть и будут. И вот если власть и писатели придут к консенсусу — не «ты мне, а я тебе», нет, — а если возникнет между ними уважение и почитание, вот тогда и великая литература возродится, и Переделкино вернётся.

Что же должно такое в обществе произойти, чтобы государство по-другому посмотрело на писателей? Я не знаю. Для этого нужны глобальные перемены, смена поколений и взглядов. Просто дать писателям безграничную свободу — мало. Настоящая свобода — это не когда говоришь и делаешь, что хочешь. Христос проповедовал свободу. Но для Христа свобода — это было самоограничение, то есть, свобода внутренняя, та, о которой Блок писал в посвящении Пушкину: «Тайную свободу / Пели мы вослед тебе!». Вот эта тайная свобода — это и есть внутренняя свобода.

Когда я был в жюри Толстовской премии, я много читал современных молодых писателей. Вот, например, в Оренбурге живёт очень талантливый Пётр Краснов. Замечательный писатель! Но он — там, а здесь о нём не говорят, не пишут, и его не читают.

Или, например, художника знаю — Николая Предеина. Он живёт в Екатеринбурге и однажды приехал ко мне с альбомом своих скульптур и рисунков. У меня дома сейчас много его графических работ на гоголевскую тему. И он подарил мне скульптурку Гоголя, настоящее чудо! Предеин сделал его похожим на птицу, а ведь по-украински «гоголь» и есть птица, но какой же он узнаваемый! И печальное, и детское что-то в нём есть. И вот, говоря о писателях, я вспомнил вдруг художника. А если есть в стране такие замечательные художники — есть и писатели!

Был тёплый июнь — и всё цвело, как никогда, потому что было много солнца. Этого солнца России сейчас и не хватает.

Ирина Зорина

Житьё-бытьё в Переделкине

Нынче я живу отшельником
меж осинником и ельником,
сын безделья и труда.
И мои телохранители —
не друзья и не родители —
солнце, воздух и вода.

Булат Окуджава

В апреле 1993 года мы с моим мужем Юрием Карякиным оказались в Переделкине. Благодарить за это надо было Алеся Адамовича. Он, как и Карякин, был народным депутатом, но главное, что оба они перенесли инфаркт (Карякин — даже три, да ещё и операцию на сердце). Алесь тогда написал заявление с просьбой предоставить им в аренду дачи в Переделкине. Написал за двоих, хотя Карякин сопротивлялся: не по чину, мол. Но Алесь и слушать его не стал. Заявление приняли, удовлетворили.

Алесь поселился на улице Довженко, в маленьком домике рядом с Булатом Окуджавой. Они в последние годы очень

сдружились, оба работали в Комиссии по помилованию при Президенте России. А Карякину дали верхний этаж дачи № 6 на улице Тренёва. Когда-то эту дачу целиком занимал поэт Илья Сельвинский, потом, нижний этаж, — Андрей Вознесенский. И наконец, дом разделили, так сказать, на троих… писателей, конечно.

Впервые в жизни у нас с мужем появилось ощущение своего дома. Впервые выбрались мы из московской клетушки на сосновый простор. Разумеется, надо было делать ремонт: стены были ободраны, потолок обвалился, крыша протекала. Но мы были счастливы и сразу начали размещать книги в предполагаемом юрином кабинете, по размерам превышавшем всю нашу прежнюю черёмушкинскую квартиру.

Наш переделкинский сосед Булат Окуджава

Первым пришёл к нам на новоселье Булат Окуджава.

Я всегда робела перед Булатом. Когда Юра сказал мне, что сейчас к нам заедет Окуджава, от огорчения, что дом наш пуст — даже сесть некуда, что у меня не то что ничего нет в холодильнике, но и самого холодильника нет, — я заплакала. Поставила в центре комнаты табурет, накрыв его полотенцем, и нарезала хлеб с сыром. Больше ничего не было.

В наш дом Булат вошёл с подарком, оказавшимся драгоценным. Протянул маленькую, в ладонь, деревянную тарелочку, в центре которой резьбой был сделан рисунок — домик, горевший в домике огонёк и луна в небе.

— Это мне прислали политзэки из лагеря, — сказал он. — Вот мечта о доме. А как вам, ребята, ваш дом?

Тут Карякин и говорит:

— Знаешь, Булат, а ведь это первый в нашей жизни дом. Встаю утром и щиплю себя за ухо — не приснилось ли?

— Я тебя понимаю. Сам так же щиплю себя по утрам уже шестой год.

Булат, будто зная о моих хозяйских прорехах, достал бутылку саперави. Пригодились и мои хлеб с сыром. Так вот и встретили мы новоселье в нашем переделкинском доме.

А тарелочку ту мы повесили на стенку большой комнаты (уже после ремонта). И стали вокруг неё появляться, как грибы, другие тарелочки. Вот и получилось, что от булатовской тарелочки началась наша коллекция, которая всё растёт и растёт.

Булата Окуджаву я увидала первый раз в 1969 году в Ялте, хотя знала и любила его песни, пела их с друзьями у костра, как и все мы, ещё со студенческих лет.

В мае 1969 года мы с Юрой и его товарищами отправились в турпоход — в Крым. Восьмого мая спустились к морю у Гурзуфа; естественно, потянулись на рынок в Ялту, впрочем, без гроша в кармане — просто поглазеть. А глаза разбегаются, и слюнки текут, только денег нет! И вдруг на плечо Карякина опускается чья-то рука… Юра оборачивается — Бог мой, Булат!

Юра был с ним немного знаком по Москве, но особой близости тогда ещё не было. Булат был уже знаменит, мы слушали его на поэтических вечерах, иногда где-то в доме у общих друзей. В 1967 году (насколько я помню) Булата пытались исключить из Союза писателей*. И когда Карякин выступал в январе 1968 года на знаменитом вечере памяти Платонова в ЦДЛ, он назвал Булата Окуджаву, а также Коржавина, Неизвестного и Солженицына нашими гениальными современниками и сказал, обращаясь в зал, где сидело очень много «искусствоведов в штатском»: «Сегодня вы их травите. А я вам предлагаю пари. Посмотрим, где будете вы через двадцать лет и где — они».

И вот — такая неожиданная встреча на ялтинском базаре. Булат пригласил нас на свой день рождения — девятого мая — в писательский дом в Ялте, где он тогда отдыхал с Олей. А потом отвёл Юру в сторону и очень просто сказал ему: «Похоже, у вас негусто с деньгами. А у меня сейчас есть. Вот, возьми, когда сможешь — отдашь». И протянул ему триста рублей, по тогдашним меркам это было целое состояние. Карякин растерялся и стоял как вкопанный, а Булат без лишних слов пошёл прочь и лишь повторил: «Так завтра приходите».

Чуть в стороне от шумной Ялты, на пригорке в тенистом парке, находился писательский дом. Шли мы туда с некоторым волнением (мы тогда вообще не были завсегдатаями писательских домов творчества). Поднялись по высокой деревянной лестнице, и тут же нас встретил сам Булат. Рядом с ним был незнакомый рыжеватый человек, уже немолодой, как мне показалось.

---

* Одним из поводов стало письмо А.А. Скочилова, направленное Ульяновским обкомом в ЦК КПСС после гастролей Булата Окуджавы в Ульяновске в том же году. См. *Мальцев Л.* Как уроженец Яранского района на Окуджаву донос писал // http://yaransk.net/news/site/3372-kak-urozhenets-yaranskogo-rajona-na-okudzhavu-donos-pisal.html — *Прим. ред.*

— Познакомьтесь. Это мой товарищ — Константин Ваншенкин. Очень хороший поэт, — сказал Булат.

Меня тогда, признаюсь, поразило это слово — *товарищ*. Настолько оно было для меня связано с партийными собраниями и официальными бумагами, что я, по чисто совковому невежеству, даже не задумывалась над его первоначальным добрым смыслом. Это уже позже я часто слышала, как наш друг, замечательный писатель Юрий Давыдов, с которым нам посчастливилось соседствовать несколько лет в Переделкине, называл так своих друзей — серьёзно, уважительно и тепло: «это мой хороший товарищ». Тогда же я не поняла, что Булат именно так употребил это прекрасное русское слово.

Мы быстро перезнакомились. Борис Балтер и его жена Галя (единственная, кого я знала раньше, моя коллега по Академии наук), невообразимо прекрасная Белла Ахмадулина… Кажется, там были и Фазиль Искандер с женой Тоней. Я очень неловко себя чувствовала, увидев столько знаменитостей. И Булат, заметив это моё смущение, повёл нас с Юрой к себе: «Хочу вам что-то показать».

Этим «чем-то» были его короткие письма с рисунками, адресованные его сыну, маленькому Бульке. У меня тогда мелькнула мысль: «Какое же это счастье, если в детстве тебе папа каждый день пишет истории!». Не помню уж теперь, о чём рассказывал Булат сыну, только помню, что истории эти были «стра-а-а-шные» и смешные.

Потом все участники праздника быстро приступили к делу: пили, говорили прекрасные тосты, читали стихи, куда-то разбредались, снова сходились. Все были молоды, прекрасны, талантливы. Непривычная к долгим застольям, я забилась в уголок и там заснула. А рано утром мы с Юрой улетели в Москву. Но в памяти осталось какое-то ощущение сказки: изумрудное море; ослепительное майское солнце, без тягостной летней жары; несколько обветшалый дом в зелёном парке; бесконечные анфилады комнат, куда уходили все эти поразившие меня литературные знаменитости, чтобы потом снова собраться за общим столом и снова поднять бокал вина за Булата, за Победу. И сам Булат, изящный, как юный князь.

В Москве встречи с Булатом были не так уж часты. Никогда не видела Булата таким мрачным, как в день сороковин Володи Высоцкого. Вышел на чёрную сцену, сам весь в чёрном, и спел нам о том, как «чёрный аист на чёрную землю спустился».

Когда в мае 1984 года Булату исполнялось шестьдесят, он исчез из Москвы, не хотел никаких юбилеев. Однако энтузиасты из Клуба самодеятельной песни («каэспэшники», как их называли) всё-таки чуть позже вытащили Окуджаву на вечер в его честь,

который состоялся в Доме культуры имени Горбунова. Был замечательный концерт. Булат сидел среди публики, даже не в первом ряду. Ни за что не хотел выходить на сцену. Но в итоге всё же вышел и немного спел.

А потом мы собрались за скромным столом где-то за кулисами. Были близкие друзья, были те преданные ему молодые люди из КСП, кто умудрился сделать первое «самиздатское» собрание сочинений Булата Окуджавы. Этот подарок его по-настоящему растрогал.

И всё же в тот вечер Булат был грустен и тих. Может быть, и ему приходили в голову мысли о том, что шестьдесят лет — это уже возраст, а в нашей славной коммунистической Римской империи ничего не меняется.

И вдруг через три года я увидела совсем другого Булата. Это было осенью 1987 года — в Доме кино показали фильм Абуладзе «Покаяние». Оба зала — Большой и Малый — были забиты до отказа. Царило особое, напряжённое ожидание. А потом наступила тишина, будто у всех сразу перехватило дыхание от увиденного. После окончания просмотра, спускаясь из Малого зала, увидела на пролёте лестницы возбуждённого Булата, окружённого друзьями. Среди них был и Юра Карякин, что придало мне смелости приблизиться к ним. Споров не было, но было какое-то безудержное и радостное обсуждение. И вдруг Булат произнёс:

— Ну вот, теперь всё сказано. Теперь всё переменится.

Перемены, действительно, пришли, и эти маленькие и большие победы мы «приближали, как могли». Многие писатели, публицисты, учёные ринулись в политику. На уличные демонстрации выходили тысячи москвичей, в основном из интеллигенции. Булат в политику не пошёл, но много выступал в печати, охотно давал интервью. Видно было, что его интересовало всё — политика, экономика, вообще всё, что происходило вокруг. Но сам он от московской суеты скрылся в маленьком домике в Переделкине, на улице Довженко, недалеко от железнодорожной платформы «Мичуринец»…

Октябрьские события 1993 года застали нас всех врасплох. Булат, помнится, был очень болен, простудился, лежал с высокой температурой. Но, узнав о том, что творится в Москве (штурм «Останкино», призывы Руцкого к штурму мэрии и Кремля), настаивал в разговоре с зашедшими к нему Адамовичем и Карякиным на том, что необходимо действовать быстро и целенаправленно. В Москву ночью, с последней электричкой, рванул Юра Щекочихин. Он не смог пробиться на телевидение — вещание уже вырубили. Поехал на радиостанцию «Эхо Москвы» и организовал оттуда выступления и Окуджавы, и Адамовича, и Карякина, а через Карякина — и Горбачёва, и Яковлева, и других политиков.

Ночь с третьего на четвёртое октября была очень тревожной. Все мы почувствовали, насколько хрупок был демократический режим. Держались все вместе. Когда мятеж был подавлен, смотрели уже по телевизору, как покидали Белый дом его «героические» защитники. Меня тогда поразила твёрдость убеждений Булата. Никаких колебаний насчёт того, что это была попытка коммуно-фашистов вернуть всё вспять, у него не было, как и у нас.

Иногда мне приходилось выступать в роли посыльного и связного. Карякин отправлял меня с важными письмами к Булату Шалвовичу, всегда предварительно договорившись о возможности зайти к нему.

Однажды мой визит неожиданно обернулся долгим и серьёзным разговором. Его заинтересовал мой рассказ об увиденных на Кубе ещё в начале 60-х «революционных бесах»; о безжалостной зачистке Фиделем Кастро всех своих личных врагов и потенциальных соперников, а потом и вообще всякой «контры»; о том, насколько нетерпим и жесток был «идеалист» (вовсе не такой уж идеалист!) Че Гевара. Особенно внимательно Булат слушал о подготовке современных террористов Латинской Америки, главным образом на Кубе, в Никарагуа и — до недавнего времени — в наших советских спецшколах и тренировочных лагерях, об их всё расширявшихся связях с наркобизнесом. И вдруг требовательно сказал мне: «Вот об этом и надо писать. Надо всё рассказать. Терроризм — это серьёзно и надолго».

Перед своей последней поездкой в Германию и Францию весной 1997 года он позвонил нам (а звонил он почти всем своим друзьям) и сказал: «Ну вот, в последний раз съезжу с концертами и вернусь в Переделкино. Очень скучаю по своему дому. Тогда и повидаемся».

Не пришлось. Наступило последнее свидание с ним. Прощание. Прощалась вся Москва: друзья, бесчисленные почитатели его таланта; прощались и те, кто стоял тогда у власти, и те, кто терпел тогда эту власть. Казалось, весь народ наш прощался; кто смог — пройдя дорогу по Арбату, кто не смог — слушая дни и ночи напролёт его песни. Они тогда беспрерывно звучали по «Эху Москвы»…

Сколько бы ни было теперь фильмов, встреч, конференций, фестивалей, посвящённых Булату Окуджаве, не оставляет острое чувство: ведь был рядом, и каждое мгновение общения с ним могло стать вечностью. Ну что ж, «двух жизней прожить не дано», можно лишь быть ему благодарным за те прекрасные минуты, которые превратились в вечность.

Комиссия по творческому наследию репрессированных писателей в Переделкине

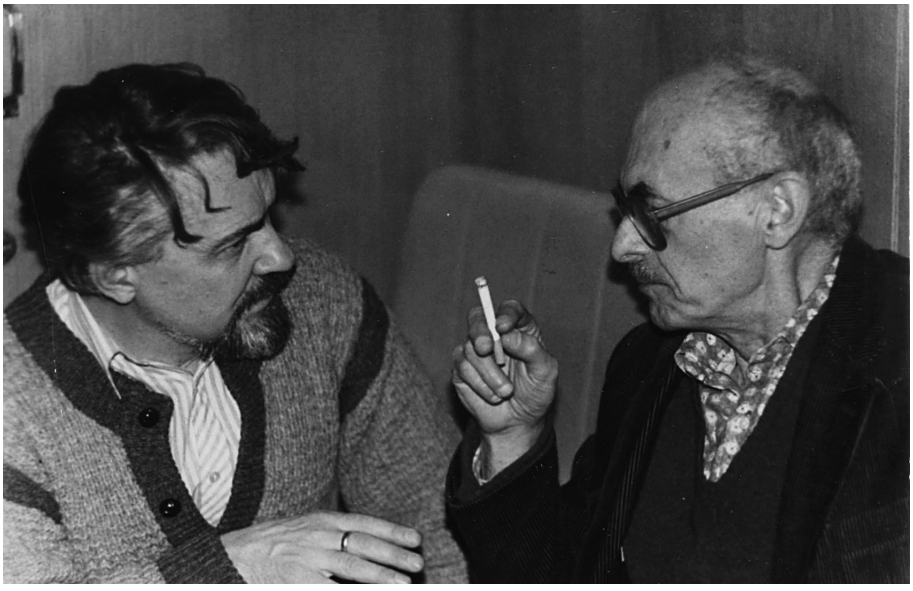
Всего на одно лишь мгновенье
Раскрылись две створки ворот,
И вышло моё поколенье
В свой самый последний поход.

Булат Окуджава

Летом 1995 года в нашем переделкинском доме прошло «выездное заседание» *Комиссии по творческому наследию репрессированных писателей России*. Собрались члены комиссии: Булат Окуджава, Юрий Давыдов, Юрий Карякин и организатор комиссии и самый моторный её работник — поэт, прозаик Виталий Шенталинский.

Он привёз к нам генерал-майора Анатолия Афанасьевича Краюшкина, начальника Архивного управления Федеральной службы безопасности России (бывшего КГБ). Это был высокий, статный человек, моложавый и красивый, с крепким рукопожатием. Именно он, некогда сотрудник Десятого отдела КГБ, начальник отдела регистрационных архивных фондов, открыл Виталию Шенталинскому рассекреченные дела репрессированных писателей и помогал ему. А при знакомстве их пошутил: «Вы — первый писатель, попавший сюда добровольно. Ну, куда мне вас посадить?». Они посмотрели друг на друга и рассмеялись, а Виталий подумал: «Слава Богу, что мы уже смеёмся над этим».

Шенталинский привёз к нам Краюшкина неспроста. Он почувствовал, что в ФСБ начинали препятствовать работе комиссии, и пытался заручиться поддержкой тех чекистов, которые



ценили литературный труд. Да и Краюшкину, по-видимому, хотелось познакомиться с Булатом Окуджавой и побывать в обществе его единомышленников и друзей.

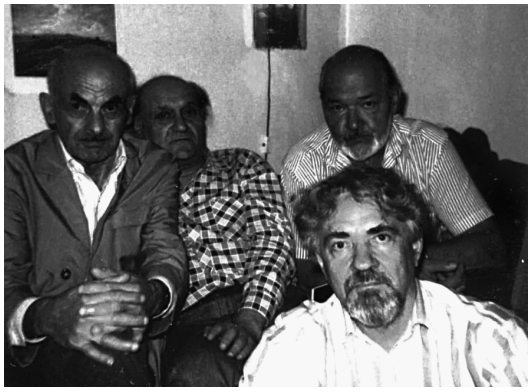
В кабинете Карякина обсудили самые неотложные дела. Разговор был серьёзный. В нём участвовали все — горячо и заинтересованно. Булат Окуджава едва ли не горячее всех ратовал за спасение арестованных рукописей. Говорили о том, что надо знать правду не только о довоенных временах (чем, собственно, пока занималась комиссия), но и о тех, в которые довелось жить нам. Где тонны самиздата, изъятого у людей, где тысячи километров фото- и киноплёнки, снятой тайно? Ведь это ценнейший материал нашей недавней истории… Неужели всё уничтожено?

Сели за стол. Булат предложил первый тост, с улыбкой, безо всякого пафоса: «Просто удивительно, что такое происходит! Надо выпить за хорошее дело». Подарил гостю свою книгу с автографом, что, впрочем, сделали и другие писатели, принявшие участие в этой замечательной встрече. Но засиживаться Булат не стал. Сославшись на занятость, первым уехал. Думается мне, что какими бы «идеальными» ни были чекисты, помогавшие Шенталинскому в раскрытии архивов, общее застолье с ними было ему не очень приятно.

В годы Перестройки появился шанс раскрыть тайные архивы КГБ и прокуратуры. Погибших писателей было не вернуть, но возможно ли было вернуть их рукописи, замурованные в подвалах КГБ? Почему именно Шенталинский стал мотором этого тяжелейшего и благородного дела — отворить «гробницу памяти»?

Было в жизни Шенталинского «два Севера» — романтический и трагический. Романтический — это его жизнь и работа на острове Врангеля, а трагический — это ГУЛАГ. В годы Перестройки он обратился к тем писателям, которым доверял и в отношении которых был уверен, что тема поиска литературного наследия репрессированных писателей им близка, важна. Позвонил Булату Окуджаве. У него и собрались на первое заседание. Пришёл поэт Анатолий Жигулин, бывший узник Колымы; Олег Васильевич Волков, двадцать семь лет проведший в лагерях и ссылках. Позвонили прозаикам Камилу Икрамову и Юрию Давыдову, тоже имевшим печальный тюремный опыт… К ним присоединился Юрий Карякин. Созвонились с Виктором Астафьевым, подключился друг Шенталинского — поэт Владимир Леонович. Они и составили костяк комиссии. Это уже была сила. Помог им Александр Николаевич Яковлев, член Политбюро ЦК КПСС, к которому, по счастью, попало письмо Шенталинского, и он направил его в КГБ и прокуратуру с резолюцией: «Прошу помочь писателям».

Силы сопротивления внутри Федеральной службы безопасности, самого зловещего ведомства страны, были велики.



Приоткрывшаяся раковина Отдела секретных архивов тоже могла вот-вот захлопнуться.

Работа у Шенталинского была адова. Каждый день он приходил на Лубянку и сидел, не разгибаясь, по восемь часов в отведённом ему уголке. До рези в глазах переписывал в блокноты протоколы допросов и прочие тексты. Потом ему разрешили наговаривать текст на диктофон и, наконец, ксерокопировать некоторые документы и рукописи писателей.

Надо было спешить. На обложках следственных дел, как сказал в одном своём интервью Шенталинский, «бились и клевались, как хищные птицы, два грифа: “Хранить вечно” и “Совершенно секретно”. То, что “Совершенно секретно”, могло быть уничтожено в любой момент, как и происходило нередко до Перестройки — сжигалось». Очень скоро архивы снова закрылись, допуск к ним получить стало неимоверно трудно.

Но огромный массив документов и писательских рукописей удалось извлечь. Шенталинский немедленно начал их публиковать в «Огоньке», где он вёл рубрику «Хранить вечно», а также в «Литературной газете». Так им и были впервые опубликованы арестованные рукописи и материалы о жизни и творчестве Ахматовой, Бабеля, Бердяева, Булгакова, Горького, Клюева, Мандельштама, Пастернака, Платонова, Цветаевой, Шолохова и других русских писателей. С помощью Солженицына вышел в 1999 году ещё и сборник «За что?» — стихи, проза и документы узников коммунистических лагерей.

Главным итогом многолетней работы стала трилогия: «Рабы свободы. В литературных архивах КГБ» (1995), «Донос на Сократа» (2001), «Преступление без наказания» (2007). Эти книги Виталия Шенталинского были переведены на многие языки, получили признание в Европе и США.

Россия зависла над бездной. «Над бездной можно только лететь» — последняя строка поэта Шенталинского, завершающая его трилогию. Он ушёл из жизни безвременно и трагически в 2018 году. Вот его светлое прощание с нами:

Я в небе умру.
Упаду головою в закат,
но птицей взлечу на рассвете.

И смерть моя станет
такою же песней,
какою была моя жизнь.
Я в небе умру,
чтоб прощаясь со мной,
вы голову подняли выше.

***

«Новые русские» пытаются купить Карякина

Летом 1993 года в нашем переделкинском доме появился какой-то подозрительный тип из «новых русских». Имени его я так и не узнала. Он уединился для разговора с Карякиным в его кабинете. Я на кухне готовила борщ — впрочем, попотчевать им гостя не пришлось. А история вышла вот такая.

Карякин был тогда членом Президентского совета. Уж не знаю, из какого сарафанного радио стало известно, что на заседаниях он сидел всегда с Ельциным рядом, по правую руку. Борис Николаевич вообще любил, чтобы все сидели на привычных ему местах. И, наверное, кому-то могло показаться, что подписать у Ельцина нужную бумагу было делом простым. Вот и послали к Карякину гонца с предложением, от которого, как им — пославшим — казалось, ему трудно было бы отказаться.

Гость для порядка заговорил о том, как важно помогать людям культуры, что надо бы увековечить память многих. Тут Карякин и предложил:

— А вы финансируйте установку в Москве памятника Достоевскому!

— Что Достоевский! Вот на Майкла Джексона я бы денег не пожалел, — вдруг выпалил новоиспечённый финансист. И тут же осёкся.

Потом, оглядевшись, пошёл ва-банк:

— Вот вы живёте в этой старой деревянной халупе, а могли бы жить в приличном коттедже, и мы бы вам помогли.

— Интересно, — провоцировал его Карякин. — И что же вы хотите от меня?

— Да совсем немного. Вы же заседаете рядом с Борис Николаичем. Пусть подпишет распоряжение о передаче нам особняка… для нашего «Центра культуры».

Карякин поднялся и тихо сказал:

— Вон из моего дома! — потом открыл дверь и крикнул мне: — Ира, борщом не угощать! И спусти этого типа с лестницы!

Дверь захлопнулась. Тип ретировался.

Помнится, я тогда и рассказала Юре о разговоре двух новых русских бизнесменов, подслушанном мною во Дворце съездов

в Кремле, в день празднования победы над августовским путчем 1991 года. Когда мы вошли в празднично украшенное фойе, я буквально оторопела, увидев на каком-то немыслимом постаменте огромный бело-розово-коричневый торт. В центре торта стоял Белый дом, окружённый баррикадами, а у подножья всего этого помпезного сооружения извивался флаг России — триколор. Я невольно застыла, глядя на такую картину. Юра побежал к друзьям. И вдруг я услыхала: «Ничего, пусть эти демократы поболтают, попразднуют. Деньги все у нас. Всё *мы* будем решать». За спиной моей стояли два молодых «комсомольца» или сынка партийцев, лощёные и довольные собой.

Карякину в голову не могло прийти что-то извлечь для себя из своей приобщённости к новой власти. Он был бессребреником. Расскажу об одном курьёзном случае из его недолгой депутатской жизни.

Жаркий июнь 1989 года. Юра только что получил мандат депутата Съезда народных депутатов. А мне приходилось каждый вечер стирать его рубашки, их было всего две. И я не заметила, что он не вытащил документ из кармана, и постирала её, ликвидировав мандат! Пошёл он в хозяйственно-организационный отдел Съезда просить взамен новый. Обратился к женщине, заваленной бумагами. Она, даже не спрашивая его, что надо, сходу:

— Вам квартиру?

— Нет. Квартира у меня есть.

— Тогда зачем пришли? Все приходят за депутатскими квартирами. Видите эту стопку заявлений?

Тогда, действительно, все депутаты — а многие были из регионов — озаботились получением квартир в Москве. И все получили! А когда закончились их депутатские полномочия, остались жить в этих квартирах. Из двух тысяч двухсот пятидесяти депутатов только один Михаил Михайлович Молоствов, друг писателя Юрия Давыдова и наш с Юрой, пришёл сдать квартиру. Его сочли сумасшедшим.

Карякин с грустью записал в своём дневнике: «Никто, почти никто из тех народных депутатов, с кем мы с Алесем начинали, не выдержал испытание властью, деньгами или тщеславными потугами ни по каким, даже самым низким, элементарным критериям: от Станкевича до Ельцина. Даже умница Яблоков (один из помощников Ельцина — *И.З.*) как-то почти наивно признался мне в своём кремлёвском кабинете: “Не хочу отсюда уходить”… А ведь и Борис Николаевич растерялся, как-то даже искренне растерялся, когда Рязанов в своём телеинтервью спросил о его дачах».

Впрочем, это уже совсем другой рассказ.

Иллюстрации

(из личного архива автора — публикуются впервые)

Стр. 69 — Ирина Зорина в Центральном доме литераторов. Презентация подготовленной ею книги Юрия Карякина «Переделкинский дневник», 31 марта 2017 года.

Стр. 70 — Ирина Зорина и Юрий Карякин возле своего дома. Рядом — собака Маша. Переделкино, зима 1994 года.

Стр. 75 — Виталий Шенталинский приехал к Булату Окуджаве с идеей создания комиссии по наследию репрессированных писателей. Москва, 1988 год.

Стр. 77 — Выездное заседание Комиссии по наследию репрессированных писателей в нашем доме. Б.Ш. Окуджава, Ю.В. Давыдов, Ю.Ф. Карякин. На переднем плане — Виталий Шенталинский. Лето 1995 года.

Станислав Айдинян

В гостях у Вениамина Каверина

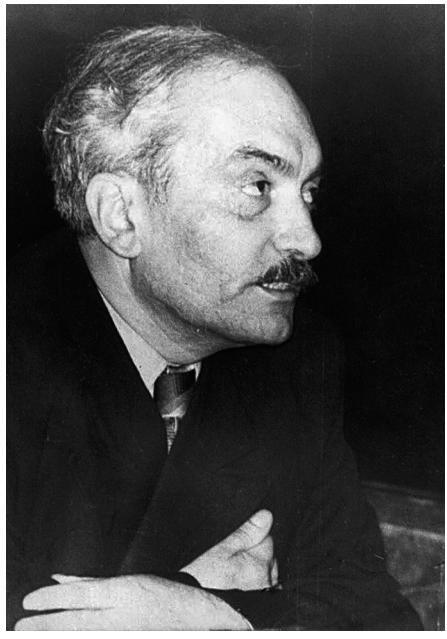
Анастасия Ивановна Цветаева в 1980-х годах отдыхала и работала в Доме творчества писателей в Переделкине. Как предоставлялась возможность, приезжала в старый писательский корпус, можно сказать, регулярно.

Там её навещали многие. Помню, приезжала из Москвы будущая основательница московского Дома-музея Марины Цветаевой Надежда Ивановна Катаева-Лыткина. Приходила со своей дачи Белла Ахмадулина (не одна — с милой лохматой собакой). В другой год приходил сын Бориса Пастернака, Евгений Борисович. Анастасия Ивановна общалась с Арсением Александровичем Тарковским, пыталась помочь ему гомеопатическими рецептами… Там же, в Доме творчества, её интервьюировал Феликс Медведев. В 1988 году, в октябре, уже в новом корпусе, произошла встреча Анастасии Ивановны с приехавшей из Парижа поэтессой и писательницей Ириной Владимировной Одоевцевой, высоко оценившей силу и обаяние её личности. Случайных и неслучайных встреч с самыми разными литераторами было немало — в советские годы Дом творчества всегда был переполнен.

Приезжала Анастасия Ивановна чаще всего не одна; она приглашала в занимаемый ею номер свою старинную подругу — поэтессу и переводчицу Евгению Филипповну Кунину. Они были почти одного поколения: Анастасия Ивановна родилась в 1894 году, а Евгения Филипповна — в 1898. Кунина в своё время закончила с золотой медалью гимназию и училась у Валерия Брюсова в профессионально-технической школе поэтики[1].

Кстати, близко дружила Цветаева и с возлюбленной Брюсова — поэтессой Аделиной Адалис. У неё, в свою очередь, был в 1920-х годах период молодой дружбы с Борисом Пастернаком; они познакомились после одного из чтений его стихов, в 1922 году в Доме печати (он впервые читал свои «Темы и вариации»). Это также роднило Адалис с Анастасией Ивановной, особенно дружившей с Пастернаком до войны. Тот помогал ей и когда она была в сталинских лагерях.

Анастасия Ивановна дружила не только с Евгенией Филипповной, но и с её младшим братом Иосифом Филипповичем Куниным — музыковедом, обогатившим знаменитую книжную серию «Жизнь замечательных людей» биографиями М.А. Балакирева, Н.Я. Мясковского, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского. Кунин родился в 1904 году и ещё до войны работал в разных издательствах, в частности, в «Земле и фабрике». Он был первым, кто стал помогать Анастасии Ивановне редактировать её знаменитые «Воспоминания», о чём свидетельствует дарственная надпись, сделанная её рукой на авторизованной машинописи начальных глав.



В 1988 году Евгения Филипповна и Анастасия Ивановна решили посетить Вениамина Александровича Каверина. Он работал в то время над романом о прозаике, поэте и

[1] Позднее эта школа была преобразована в Высший литературно-художественный институт имени В.Я. Брюсова — высшее специальное учебное заведение в Москве с 1921 по 1925 годы. В этом предшественнике московского Литинститута готовили прозаиков, поэтов, беллетристов, драматургов, критиков и переводчиков, проходивших трёхгодичный курс обучения. — *Прим. ред.*

журналисте Борисе Матвеевиче Лапине, погибшем на фронте. Кунины знали Лапина, поскольку все трое учились в Высшем литературно-художественном институте. Иосиф Филиппович написал об этом Каверину, тот откликнулся на письмо, и это стало поводом для визита.

В Литературно-художественном музее Марины и Анастасии Цветаевых в Александрове хранится то самое ответное письмо, напечатанное на машинке, с подписью автора. Вот его текст:

Глубокоуважаемые Евгения Филипповна и Иосиф Филиппович,

от всей души благодарю вас за предложение помочь мне в трудной работе над романом о Борисе Лапине. Книга будет посвящена ему. Это не биография, а именно роман, и во многих эпизодах, которые будут рассказаны, он не участвует, но вполне мог бы участвовать, насколько я представляю его по личному знакомству и воспоминаниям Габриловича и Ирины Эренбург.

Не сомневаюсь, что из ваших воспоминаний я почерпну какие-нибудь новые сведения о его характере, внешности, привычках, манере думать и говорить.

Если вы возьмёте на себя труд написать ваши воспоминания, это, без сомнения, облегчит мою нелёгкую работу.

Заранее благодарю.

В. Каверин

29.9.87 г.

Кунины снова написали Каверину, но на сей раз ответа не получили. Старые брат и сестра забеспокоились о здоровье писателя. Прошло время, и было решено, что Евгения Филипповна его навестит.

В свои почти девяносто лет Евгения Филипповна не была похожа на свою старшую, давно уже девяностолетнюю подругу Анастасию Ивановну, её Асю, которая была абсолютной вегетарианкой, в преклонном возрасте сохранила лёгкость шага и быстроту движений. С одной стороны Евгению Филипповну поддерживал я, с другой её терпеливо вела Анастасия Ивановна.

И вот 18 июня 1988 года в Переделкине мы с Евгенией Филипповной и Анастасией Ивановной идём довольно долгой дорогой пешком до дома Каверина. По разъяснениям, которые нам дали, путь был коротким; может быть, таким он бы нам и показался — мне и Анастасии Ивановне… Но Евгении Филипповне преодолеть такое расстояние было непросто. Нам помогает беседа.

Евгения Филипповна несколько досадует, ведь обещание быть ровно в девять вечера заставляет торопиться. Анастасия

Ивановна говорила мне перед выходом: «Дорога не далека, и нужно выйти за двадцать минут. Если придём раньше — неудобно!».

Мы выходим из Дома творчества и движемся по улице Серафимовича, затем сворачиваем на улицу Горького и, расспрашивая по дороге людей, приближаемся к 15-ому номеру, который всем местным жителям известен как дом Каверина. Я звоню в звонок, спрятанный от дождя под маленький пластмассовый козырёк. Через узкие щели деревянной калитки угадывается двор, как будто удлинённый в зелёную перспективу.

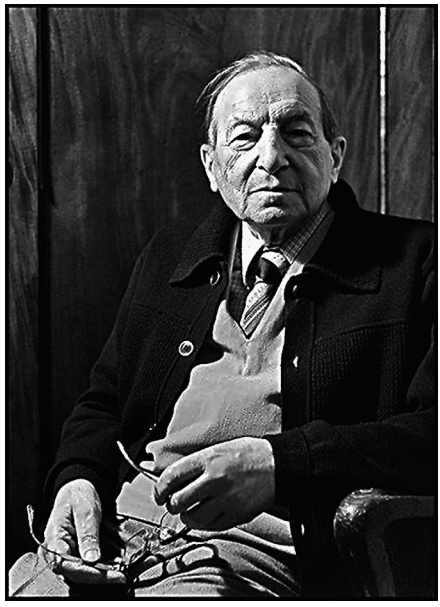
Долго ждать нам не приходится (Евгения Филипповна по телефону предупредила Каверина о нашем приходе). Дверь отворяется. Выходит женщина, живая, приветливая. Позже оказывается, что это — Лилия Наумовна Белинькая, литературный секретарь Каверина. За нею мы проходим во двор мимо каких-то строений, по виду жилых. Я иду с Евгенией Филипповной, а быстрая, несмотря на свои девяносто четыре года, Анастасия Ивановна уходит сразу вперёд с Лилией Наумовной.

Две-три ступеньки, и мы подымаемся на порог дома. Заходим. В кресле перед телевизором сидит человек — я мысленно сравниваю его с фотографией в «Литературной газете». Признаться, сходство минимально. Во всём облике безошибочно угадывается нота благородства английского толка и аскетизм. Аристократические дуги бровей расходятся виньетками изящных запятых… Как круто они поворачивают, эти запятые! Правильность старческого лица и одновременно — не надменность, нет — приветливость, внимание.

Каверин целует руки Евгении Филипповне и Анастасии Ивановне. Разговор вспыхивает сразу. Я здороваюсь, и тут он задаёт неожиданный вопрос: «А где внук Бенкендорфа?». Дело в том, что он недавно говорил с Владимиром Владимировичем Соловьёвым, близко знавшим А.Б. Трухачёва, сына Анастасии Ивановны. Соловьёв — журналист, специалист по роду Гончаровых, знаток семейных биографий. Он, видимо, знал, что мы сюда собирались, и предупредил Каверина, а тот подумал, что придёт и сам Соловьёв.

Итак, садимся. Лилия Наумовна, несмотря на вежливые протесты Анастасии Ивановны, приносит нам чай. Первые вопросы задаёт Евгения Филипповна — о своих с братом письмах. «Да, получил, благодарен».

Евгения Филипповна сообщает Вениамину Александровичу, что мы предварительно просмотрели «Литературную газету» за 15 июня 1988 года — в опубликованном там интервью он как раз говорит, что пишет о Борисе Лапине. Номер газеты мы взяли с собой. Я вслух читаю фрагмент из интервью, о том, что роман «Над потаённой строкой» готовится к выпуску в журнале «Октябрь»…



— Ну, теперь всё по-иному, — говорит Каверин. — Я его взял оттуда и дал читать в «Огонёк», Коротичу. Надеюсь, он напечатает.

Немного помолчав, добавляет: «Они там печатали Грэма Грина, я его читал на английском языке… В подлиннике он производил куда большее впечатление, был более “действительным”».

Мне приходит мысль о том, что и у Каверина надежда, о которой он сказал в интервью, надежда на публикацию, не всегда оправдывается, несмотря на громкое литературное имя. Тем временем, Вениамин Александрович продолжает:

— Он… Герой… Лапин… Конечно, это не его «портрет». Лапин — прототип моего героя, чей образ — собирательный.

Потом, за общим разговором, переходим к другим темам. Я спрашиваю об Андрее Белом, не встречался ли он с ним?

— Ну конечно! — отвечает Каверин. — Когда я встретил его, мне было восемнадцать лет. Я был поражён его «Петербургом». Пошёл к нему. И удивительно, что он меня встретил сердечно. И даже стал мне, восемнадцатилетнему юноше, рассказывать о «Записках мечтателей». Он был возбуждён. Не моим приходом, конечно! Он был такой… В нём горело самовозбуждение, когда он говорил. Я удивлялся его доступности, разговорчивости. А ведь в нём были все свойства крупной личности. Было это в тысяча девятьсот двадцатом году. И я писал об этом в моей книге «Освещённые окна», это том седьмой в собрании сочинений.

Он просит секретаря принести книгу, и на стол передо мной, рядом с чайной чашкой, ложится седьмой том. Мне приходит в голову, что впервые я вижу автора собрания сочинений.

Впрочем, для меня, ценителя символизма, вопрос об Андрее Белом в этой теме предреволюционной литературы далеко не последний, ведь передо мной — свидетель той ушедшей эпохи.

— А с Вячеславом Ивановым вы тоже встречались?

— Да, конечно, я даже был в его семинаре. Был такой неизвестный, забытый теперь поэт Толоконников. Это ему я обязан тем, что он отвёл меня на семинар Вячеслава Иванова.

— А что он читал?

— Он читал спецкурс по Пушкину. Правда, я курса этого не помню. Но зато на этом семинаре я познакомился с Кашкиным.

— Кашкин! — оживляется вдруг Евгения Филипповна. — Мой соученик по Брюсовской школе!

Каверин улыбается, отплывая этой улыбкой в своё прошлое.

— Кашкин очень много для меня сделал… Он основал школу поэтического перевода.

На каком-то этапе разговор переходит на Анатолия Корнелиевича Виноградова. Я довольно подробно рассказываю об этом известном когда-то советском писателе. У меня в альманахе «Памятные книжные даты» в прошлом году, то есть, совсем недавно, вышла о нём биографическая статья.

Анастасия Ивановна слушает заинтересованно и добавляет, что Анатолий Корнелиевич приходил к ней во время Первой Мировой войны после контузии. Я знал о том, что эта встреча описана в её второй книге «Дым, дым и дым» (1916). Вспоминает она и о его первой жене, Елене. Я же говорю, что Анатолий Виноградов в период написания книги о Паганини — «Осуждение Паганини» — был военным лётчиком. Этого Каверин, как выясняется, не знал. А Виноградов однажды, ещё до войны, действительно провёл эскадрилью над Кремлём. Во время Отечественной войны был штурманом Авиации дальнего действия, военным корреспондентом.

— Вениамин Александрович, вы говорили в интервью «Литературной газете», что мало людей, которые по-настоящему освещают литературные связи. Виноградов был как раз из таких писателей. Достаточно назвать его книги «Мериме в письмах к Соболевскому», «Мериме в письмах к Дубенской»…

— Я не знал, что он писал об этом, я читал его беллетристику. Он занимался Стендалем, а Стендаль меня очень интересует как философ.

— Как философ, Стендаль — последователь сенсуалистов. Кондильяка, Кабаниса и…

— Да, да, я знаю об этом, — мягко прерывает меня Каверин.

Течение беседы снова меняется. Теперь речь идёт об английской литературе, старой и новой. Эта тема любопытна всем — Анастасия Ивановна до войны преподавала английский язык и с него переводила. Не чуждой английским литературным переводам была и Евгения Филипповна.

Говорим мы и о последнем романе Анастасии Ивановны — «Amor», — который я помогал редактировать. Там она пишет о разнице между мужской и женской психологией…

— Не только! — заявляет Анастасия Ивановна и даёт пояснения об этой книге.

— Вы читали Рыбакова? — спрашивает нас Каверин.

Анастасия Ивановна, имея в виду роман «Дети Арбата», отвечает:

— Я не думаю, что надо писать столь политичные вещи. Много несправедливого было, и я была несправедливо и надолго осуждена. А Вы эту книгу читали?

— Да, конечно, я не только читал, я даже писал статью об этом романе.

— И всё же мой «Amor» написан там, в лагере, а далёк от политики…

По-моему, слаб роман Рыбакова не политичностью вовсе. Скорее, он недостаточно психологичен, и поэтому Анастасии Ивановне, мастеру психологического анализа (и в жизни, и в литературе), показалось, что в романе «Дети Арбата» судьбы героев слишком увязли в реалиях времени и время над ними довлеет.

Когда Каверин узнаёт, что я недавно вернулся из Армении, он заметно оживляется:

— У меня с Арменией роман! Роман давний…

Он Армению воспринимает романтически, увлечённо.

— Я знаком с вашим молодым поэтом, он автор песен…

Я не сразу догадываюсь, кого он подразумевает. Потом понимаю — это Геворг Эмин, автор «Семи песен об Армении». Для восьмидесятишестилетнего Каверина он — молодой поэт!

— Он теперь оброс бородой, — продолжает Вениамин Александрович. — И если я его теперь встречу, вряд ли узнаю.

Знал он и писателя Гургена Маари. О поэте Ваане Терьяне читал лекции в университете в Ереване. Поэта Егише Чаренца знал и у него бывал.

— Он при мне чуть не разбил графин с водой о голову Кирпотина, критика. Он бешеный был.

— Из-за чего же? — интересуюсь я.

— Ему что-то не понравилось. Учительственный тон, скорее всего…

А Анастасия Ивановна тем временем уже успела надеть пальто и теперь многозначительно на меня посматривает.

Я обращаюсь к Каверину:

— Вы не будете столь добры — подписать книгу?

И вынимаю из подвесной сумки купленную случайно и далеко от Москвы книгу Каверина. «С большим удовольствием», — говорит он и, действительно, с готовностью подписывает.

— Вы знаете, — добавляет он тепло, по-дружески. — Эта книга называется «Летящий почерк». И я особенно ценю в ней именно эту повесть[2].

[2] В книгу «Летящий почерк» (1986), включены роман в письмах «Перед зеркалом» (1965–70), роман о военном корреспонденте «Наука расставания» (1982),

— Вениамин Александрович, я читал вашу повесть. Ваши герои столь чисты, возвышенны, как будто из другой эпохи. Такие характеры почти не встречаются в современности.

— Но мне хочется, чтобы они были такими, как я их вижу. И, может быть, они будут в будущем.

Я понимаю, что он об этом не раз думал, да и недавнее его интервью, данное «Литературной газете», со словами о том же…

Но пора прощаться. Мы с Евгенией Филипповной встаём. Анастасия Ивановна как всегда заботлива. Узнав, что у Каверина артроз, берётся устроить гомеопатию, называет ему фамилию врача-гомеопата. Каверин совсем по-молодому восклицает:

— Вот, надо запомнить! — и прибавляет. — Ага! Запомню!

Как будто выдвинул ящичек памяти и туда положил имя врача.

Лилия Наумовна провожает нас до ворот, беспокоится — как дойдём…

На обратном пути, тоже пешем, все говорили о Каверине.

Анастасия Ивановна грустно сказала:

— Он ведь уже совсем *ramolli*[3]. Надо ему помочь — отправить лекарства, коль будет машина в Москву и обратно…

Возможно, Анастасия Ивановна, со своим жизненным опытом, предчувствовала его скорый уход. Он умер через год, 2 мая 1989 года.

— Анастасия Ивановна, не столь уж Вениамин Александрович *ramolli*, ведь как живо мы говорили с ним об английский литературе! Он любит английские романы, читает их в подлиннике и вообще способен удивляться, восхищаться…

— Ну, это вы его «поджигали»!…

Вспоминая этот поход к Каверину, я потом подумал, будто ему присуща была лёгкая глухота, но глухота какая-то особая, *понимающая*. И ещё — Вениамин Александрович носил в себе настоящую, неподдельную благожелательность, более свойственную его поколению, чем последующим.

Несколько слов стоит сказать о том интервью Каверина «Литературной газете» (1988. № 24. С. 5), фрагмент которого я зачитывал ему по просьбе Евгении Филипповны. Оно вышло в разделе «Творческая мастерская», в рубрике «Беседа за рабочим столом», и было названо «Веньямин Каверин: Уже написана первая фраза…».

рассказы «Загадка» (1984), «Разгадка» (1985) и небольшая повесть «Летящий почерк» (1984). Автограф же был таким: «…с самыми сердечными пожеланиями и крепким рукопожатием. В. Каверин 18/6 1988». — *Прим. авт.*

[3] Анастасия Ивановна использовала французское слово («рамоли» значит «расслабленный») для того, чтобы сказать о его состоянии. — *Прим. авт.*

Лично меня поразило то, как пронзительно верно говорил он об Осипе Мандельштаме: «Эта встреча с Мандельштамом запомнилась особенно. Он принял меня как невоспитанного человека, который, не снимая шапки, осмелился войти в храм. Как поэт, Осип Мандельштам был далёк от визуальности, от вещественности. Кажется, что его стихи состоят не из слов, а из оттенков слов, а его задача — создание новых смыслов».

Далее, в другой части своего интервью, Каверин замечал: «Литература — держава, которая имеет возможность и должна пользоваться всем, что уже сделано и составляет гордость литератур разных народов. Мы ведь не на каком-то острове находимся, отдалённом от всей литературы, мы входим в эту мировую державу… Я практически не помню ни одного значительного произведения на “иностранном материале”». Как раз на эти его слова я и возразил ему в нашей беседе, напомнив об Анатолии Виноградове с его романами «Три цвета времени», «Чёрный консул», «Осуждение Паганини», «Повесть о братьях Тургеневых». Виноградов ещё в довоенное время брал зарубежную, чаще всего французскую, тематику и много писал о Стендале и Проспере Мериме.

Непосредственно с нашим тогдашним визитом был связан следующий пассаж. Журналистка Ирина Тосунян спросила Каверина о том, нет ли у него «и других уже готовых и ждущих своего выхода к читателю вещей».

— Есть роман «Над потаённой строкой»… Конечно, многое в нём — плод писательского воображения. Но в основе романа — подлинный, удивительный характер. По благородству, честности, по детской вере в самое лучшее он напоминает в какой-то степени Дон Кихота. Этот роман — о писателе Борисе Лапине, погибшем на фронте. Я отдал его в журнал «Октябрь». Ответа ещё нет, но я надеюсь…[4]

Что же касается Бориса Матвеевича Лапина (1905–1941), то он, как я узнал позже, был личностью не просто интересной, но по жизненной интенсивности совершенно удивительной. Писатель-очеркист, лингвист-полиглот, знаток массы живых экзотических языков, которые ему легко давались, а также этнограф и путешественник. (Увлечённость языками особенно импонировала Каверину, ведь он сам в 1923 году окончил Институт восточных языков). Лапин немало повидал в Средней Азии и на Дальнем Востоке. В ранние годы он был поэтом, потом перешёл на прозу, стал преимущественно журналистом.

[4] В итоге роман был опубликован в журнале «Звезда» (1989. № 9), спустя несколько месяцев после смерти Каверина. — *Прим. ред.*

До войны он многое успел, многое написал: «Разрушение Кентаи» (1932), «Новый Хафиз» (1933), «Подвиг» (1934), «1869 год» (1935), «Однажды в августе» (1936), «Врач из пустыни» (1937), «Витька» (1938), «В нескольких шагах от реки» (1939), «Приезжий» и «Человек из стены» (1940). Вместе со своим ближайшим другом и постоянным соавтором Захаром Львовичем Хацревиным он написал «Америка граничит с нами» (1932), «Сталинабадский архив» (1932), «Дальневосточные рассказы» (1935), «Путешествие» (1937) и «Рассказы и портреты» (1939).

В книге-сборнике «Подвиг: Повести и рассказы» (Москва: «Советский писатель», 1966) есть очерк о Лапине и Хацревине известного советского писателя Льва Славина, который совместно с Лапиным до войны как-то написал киносценарий[5]. У Славина можно найти такие подробности о Борисе Матвеевиче Лапине: «Он не был журналистом обычного типа, который наблюдает жизнь с пером в руках. Он всюду вторгался в жизнь как соучастник. Энергии в этом несильном теле хватило бы на добрый десяток здоровяков.

Он прошёл горные кряжи Памира как регистратор переписи Центрального статистического управления. При этом, он в совершенстве изучил персидский язык. Он работал в Крыму как сотрудник археологической экспедиции. Исколесил Чукотку как служащий пушной фактории. Вернувшись оттуда, он передал в Академию наук составленный им словарь одного из небольших северных племён. В качестве штурманского практиканта на пароходе “Чичерин” он посетил порты Турции, Греции, Сирии, Палестины, Египта. Он ездил по Средней Азии как нивелировщик геоботанической экспедиции. Он превратил свою жизнь в практический университет».

Лапин тяготел к изображению эпохи, к социальной психологии, к снайперски точному выражению мысли, идя на тяжеловесность ради ясности. В его искусстве царит порядок и своего рода суровость, выраженные с присущей ему сдержанной силой. Он ненавидит полногласие. Он находит свой пафос в сухости, своё красноречие — в краткости. В манере его есть что-то от «Записок» Цезаря или от прозы Пушкина. Недаром всегда восхищался он пушкинским «Кирджали» — в сущности, репортажем, гениально вознесённым на высоты большого искусства. Именно этот жанр — с его фактичностью, свободной манерой повествования, коротко, но глубоко врезанными характеристиками и ярко обозначенной политической тенденцией — был излюбленным жанром Лапина.

Мало того, что Борис Лапин был путешественником. В 1939 году, когда начались военные действия на реке Халхин-Гол,

[5] Очерк повторён изданием и в «Избранном» Л. Славина в 1981 году. — *Прим. авт.*

Лапин и Хацревин добились командировки на японский фронт в качестве корреспондентов «Красной Звезды». О Лапине и Хацревине в своём четырёхтомнике «Люди, годы, жизнь» писал Илья Эренбург (Борис Лапин был женат на его дочери Ирине). Эренбург писал: «Все книги Лапина были поисками нового жанра: фантастику он выдавал за историческую хронику, очерки писал как новеллы, старался стереть грань между сухим протоколом и поэзией. Это было связано с душевной природой автора: Лапин читал труды историков и экономистов, филологов и ботаников, а любил он больше всего поэзию…».

Гибель Бориса Лапина была героической. Не в силах оставить больного Захара Хацревина под Борисполем, он сам остался с другом, отказавшись бросить его в окружении, — и погиб в 1941 году вместе с ним.

У Ильи Эренбурга, в конце главы, посвящённой Борису Лапину, есть такие строки о гибели писателя: «Лапин и Хацревин вместе с армией ушли из Киева в Дарницу, дошли до Борисполя. Немцы окружили наши части. Некоторым удалось выйти из окружения. От них мы потом узнали про судьбу Лапина и Хацревина. Нельзя было терять ни минуты, а Хацревин лежал — у него был очередной припадок (эпилепсии — *Ст.А.*). Лапин не захотел оставить друга. “Скорее! Немцы близко!” — сказал ему один корреспондент. Борис Матвеевич ответил: “У меня револьвер…”. Это последние его слова, которые до меня дошли…».

Понятно, почему в своём последнем романе Вениамин Каверин намеревался на основе жизненных черт Лапина создать своего героя, изобразить яркую, многогранную личность, в которой были широта интересов, темперамент, интеллигентность, увлечённость и отвага…

Иллюстрации

Стр. 81 — Евгения Филипповна Кунина и Анастасия Ивановна Цветаева у Дома творчества в Переделкине, 1988 год (фото О. Кореневской).

Стр. 82 — Иосиф Филиппович Кунин.

Стр. 85 — Вениамин Александрович Каверин.

Татьяна Ошанина

Моё Переделкино, мой Мичуринец

«Переделкино», «Мичуринец» — понятия, ставшие нарицательными. «Еду в Переделкино к Пастернаку, к Чуковскому», «еду в Мичуринец к Окуджаве»… И звучат голоса родных людей — писателей, поэтов.

В лесу, на дорожках, я встречалась с сосредоточенным, но тепло отвечавшим на «здравствуйте» Пастернаком, с Вениамином Кавериным и прочими любителями пеших прогулок. Вместе с другими учителями Второй физико-математической школы я приезжала к Корнею Чуковскому. Да и вообще много раз бывала в его доме (со своими учениками, друзьями и одна).

Валентин Катаев, Лев Кассиль, Семён Кирсанов, Лев Никулин, Анатолий Рыбаков, Маргарита Алигер, Александр Фадеев, Павел Лукницкий, Сергей Васильев, Эммануил Казакевич, Либединские, Юрий Суровцев, Лев Озеров и многие другие известные на весь мир писатели и литературоведы работали в Переделкино-Мичуринце, гуляли, растили своих детей — моих сверстников.

Мы в свои юные годы, как правило, общались довольно тесно: толпой гуляли, танцевали, встречали рассветы на скатах к

железной дороге, ходили друг к другу в гости, по-домашнему пересекались с родителями друг друга, играли у кого-нибудь дома в игры, разговаривали, читали стихи, пели…

У Луконина, что жил рядом с нами, играли в волейбол. Легче всех было Евгению Евтушенко — как самому высокому и гибкому. Он взмётывался над сеткой и легко забивал голы.

Из тех, кто душевно был близок мне, я хочу назвать прежде всего Павла Лукницкого. Мы много и интересно разговаривали. Он рассказывал мне об Ахматовой, о Гумилёве. Говорили о самых разных вещах: он всем интересовался. Особенно он любил слушать о моих учениках и о моих методах работы с ними. Наши разговоры всегда были безразмерными.

Очень добрые отношения у меня были с Маргаритой Алигер и Лидией Либединской, мы тоже много разговаривали. Лидия Либединская ко многому относилась с юмором, была остра на язык.

Любила я задушевные разговоры с Булатом Окуджавой. О педагогике, о литературе, о жизни. У него был уютный кабинет, всегда полумрак. В те зимы, когда мы встречались, он почему-то бывал вечерами один.

Любила посиделки с Беллой Ахмадулиной. Она часто приходила к нам с отцом на огонёк и почти всегда читала стихи — и старые, и новые. Так и стоит перед внутренним взором: чуть прикрыв глаза, забыв обо всём, Белла читает; её старшая дочка сидит на заборе, младшая играет в песке. Довольно часто приходила и я к Белле. Она была гостеприимна, приветлива и доброжелательна. Обожала моих детей, всегда каждому находила доброе слово.

Часто живал в Переделкино-Мичуринце Симон Соловейчик (у кого-то из писателей, уехавших надолго). С ним мы говорили бесконечно. Это был яркий, обаятельный, умный и образованный человек, и темы у нас были общие: педагогика, психология, судьба молодёжи.

Снимал в Мичуринце дачу и Натан Эйдельман, тоже необычный, очень талантливый человек. С ним мы почти каждый год общались поздней осенью в Пицунде, куда я сбегала от большого хозяйства (отец, муж, дети) корябать свои опусы. Мы гуляли с Натаном по лесу, много разговаривали.

Одно время жил здесь Александр Западов — ярчайший человек. Беседовать с ним было настоящим удовольствием.

Мой домашний Мичуринец

В 1951 году мы приехали жить в Переделкино-Мичуринец. Отцу — поэту Льву Ивановичу Ошанину — дали тогда дачу.

Вместо участка было болото.

Моя мама, Елена Успенская (внучка Глеба Успенского), тоже была писателем, но прозаиком. Красивая, обаятельная, знавшая чуть не наизусть русскую классику, она была не только очень умна, но и остроумна.

По профессии биолог (ребёнком занималась в кружке при Московском зоопарке у замечательного учёного Петра Мантейфеля, потом училась на биофаке МГУ), она была талантлива и как писатель, и как журналист: у неё был острый глаз и точное перо. В войну она работала корреспондентом в «Комсомольской Правде», очень много ездила по стране, писала блестящие очерки и рассказы.

Была мама и ярким импровизатором — часами могла рассказывать готовые художественные произведения, правдоподобные и неправдоподобные истории (и о людях, и о зверушках), каждый раз новые, хотя, казалось бы, они основывались на одном и том же сюжете. Но они легко обрастали новыми вкусными деталями, неожиданными поворотами сюжета. К сожалению, никому не приходило в голову записывать эти рассказы, а магнитофоны были не в чести. Сейчас те истории составили бы несколько томов. А тогда получилось книжек мало: «Осторожно, любовь», «Наше лето» и сборники рассказов и очерков. Сама она всегда много читала.

Так вот, когда мы получили наше болотце, мы все под маминым (научно-биологическим) и под папиным (эмоциональным) руководством стали носить из леса детёнышей берёз, лип, рябин — всё, что нам нравилось. А потом родители пригласили французского садовода, и он разбил сад с настоящей ирригационной системой, яблонями коричными и антоновскими, грушами, сливами, смородиной, клубникой, крыжовником и прочими дарами природы, совершенно экзотическими и необычными для нас с братом — детей войны, нужды и заброшенности. Каждый день был праздником.

Мой брат, Сергей Ошанин, тоже вырос в биолога. Такой же яркий, как мама, тоже блестящий импровизатор, он мог часами рассказывать о зверушках и растениях. Сначала он преподавал в моей Физико-математической школе № 2, куда я его притащила. А потом очень много лет работал в журнале «Наука и жизнь». В самом конце жизни (оборвавшейся очень рано, как и у мамы) он снова преподавал во Второй школе.

Их дух — мамин и брата — всегда со мной, их голоса по-прежнему звучат.

Когда мы в первый раз приехали на наше болотце, с нами были и бабушка с дедушкой. Борис Глебович Успенский был сыном Глеба Успенского. Высокий, большеглазый и яркий, он как бы освятил наш дом и наши усилия создать рай на земле: он тоже

радовался каждому маленькому растению, которое жадно поглощало болотную воду и рождало новую структуру почвы. Дед учился в экономическом и в медицинском, а был литературоведом: скрупулёзно работал над собранием сочинений своего отца.

Бабка, или для нас Сонечка (она просила нас с братом звать её мамой, подразумевалась «мама Соня», но получалось короче: «Сонечка»), закончила Одесскую консерваторию, стала музыкальным библиографом. После смерти мужа (он умер в том же 1951 году) сама чуть не умерла, приняв слишком большую дозу снотворного, — еле откачали, и в течение всей своей оставшейся жизни (до 1965 года) часто живала на даче.

На даче зародились и родились Маша и Глеб. Маша — моя дочка, Глеб — сын моего братишки. Но так получилось, что я выкормила его грудью, а потом (кажется, с пятого класса) он рос в моей семье.

Мой отец и мы с ним

Прежде всего поражало в нём мужество.

Почти слепой, с ежесекундной опасностью отслоения сетчатки, почти без желудка, отец никогда не показывал, как ему трудно или больно, был всегда деятелен, безжалостно строг к себе.

Помню, он сломал ногу. А он сам постель стелил, делал упражнения, какие мог делать в этом состоянии, с тяжёлым гипсом, с ещё не прошедшей болью шёл есть на кухню — не просил подавать ему еду в постель. При этом, никто никогда не слышал от него слов: «мне больно», «мне плохо»… Он сам справлялся со своими болями и душевными катастрофами.

Порой он казался мне бесчувственным.

Страшно погибла моя мать, страшно погиб мой брат, а жизнь отца, казалось, продолжалась, как и прежде.

Мать погибла в 1966 году, и он тогда сразу женился на восемнадцатилетней. Я порвала с ним на семь лет, до тех пор, пока они не развелись. Я склонна была лишь его обвинять в гибели матери, хотя мать была человеком очень хрупкой организации — болезненно реагировала даже на мелочи. И лишь в конце его жизни я поняла, что он тяжело пережил её смерть.

Он говорил мне, и не только мне, что мать была единственной его любовью.

Их было столько, ярких и блестящих,
Светящихся в пути передо мной,
Манящих смехом, радостью звенящих.
Прекрасных вечной прелестью земной!…
А ты была единственной любимой.
Совсем другой была, совсем другой,

Как стрельчатая веточка рябины
Над круглою и плоскою листвой.

Отец писал о ней в своих стихах: «С чувством правды, с дивным чувством слова. Верой в человечество полна…», «Добрая и чистая по-русски, ты как атомного века плач…», «Слишком подвластна тревогам открытая настежь душа…», «Зная одно и одним дыша, общей стала у нас душа. Ты — моё сердце, моя рука, жилка, стучащая у виска, ты — огонёк у меня в дому…».

Мать была не только его возлюбленной, она была его верным другом, его творческим духом. Была она и первым слушателем новых стихов и песен отца, первым его советчиком. Кроме того, они писали вместе пьесы. Например, одна из них («Твоё личное дело») прошла с аншлагами по сотням театров Союза. Мать с отцом очень много ездили по нашей стране и по другим странам с выступлениями. Они были бесконечно близки духовно и очень стремились быть вместе.

Я иду, тихонько хороня
Всё, что было главным для меня.
То, что столько лет — день ото дня —
Неизбывно мучило меня.
То, чем я гордился, что любил,
Что оберегал и голубил.
То, что не сумел я сохранить,
То, что мне осталось схоронить.

Лишь когда мы съехались вновь и снова стали очень близкими людьми, я поняла, каким светом и какой раной, каким страданием мать осталась в душе отца.

Когда погиб брат, мне показалось: отец воспринял его смерть как-то спокойно. На самом же деле — сейчас я в этом уверена — именно смерть брата в 1992 году явилась для отца первым шагом к последнему рубежу.

Нежелание навязывать окружающим свои боли и свои переживания было не просто чертой характера, это было его философией.

Как-то мы говорили с ним о страхе перед смертью.

Он сказал, что страх смерти мучил и его тоже, много лет. До войны. А когда однажды, во время воздушного боя, он чуть не погиб, он осознал, что было два пути в жизни. Один — всегда, каждую минуту бояться за свою жизнь и всё равно не миновать той участи, которая предназначена, а второй — «жить, опасность презирая! И вдруг, упав на снег или траву, слабея, задыхаясь, умирая, шептать упрямо: “Я ещё живу”». Он избрал этот иной путь, так же, как избрал путь в быту — не беспокоить близких

своими нуждами и болями, самостоятельно справляться со своими проблемами. Он закрыл для себя вопрос о страхе смерти. И очень мужественно переносил возможные её «налёты».

Умирал он тоже очень мужественно. Он не требовал к себе внимания, с благодарностью принимал любое проявление заботы, не жаловался, терпел лютые боли. Чётко и спокойно диктовал свою последнюю волю.

Отцу нравилось жить большой семьёй, которую мы с ним создали после его разрыва со второй женой. Он приехал ко мне на Болотниковскую улицу, в мою скромную квартирку, попросил отдать её его бывшей жене и поселиться с ним вместе в Переделкине. Начался новый период нашей общей жизни (до гибели матери мы фактически всё время проводили в Переделкине, были очень близки).

Наверное, это был самый тёплый период в моей жизни и, думаю, в его тоже. Мы жили все вместе: отец, мы с мужем, Сергеем Бурлацким (по профессии он был физиком-теоретиком), дочь Маша и мой племянник Глеб. Дети учились вместе в одном классе. Глеб потом стал учеником, аспирантом и коллегой моего мужа.

Дача была нашим домом круглый год. И в школу на Кутузовский проспект возил детей мой муж. Он вообще был человек очень яркий, талантливый, генерирующий идеи. А кроме того, очень добрый и благородный.

Жили мы — несколько поколений — дружно и весело. Меньше двенадцати человек не садилось за стол: семья и друзья каждого из нас. Одноклассники, однокурсники мужа, его друзья по лаборатории (он работал в Институте химической физики), мои друзья — Анатолий Приставкин, Леонид Жуховицкий и другие, — мои бывшие ученики и многие другие замечательные люди, с разных концов Союза. К отцу приезжали студенты (он преподавал в Литинституте), композиторы, геологи, моряки. К детям приезжали одноклассники. Позже к нам присоединились муж Маши, Алёша, и жена Глеба, Дина. Вскоре у Маши с Алёшей родился Серёжа Бурлацкий. Он, как и Маша с Глебом, вырос в этом доме, считает его — и наш сад, и наш лес — своей Родиной. Все мы любили друг друга и жили в большом согласии. Прежде всего, сильно любили друг друга отец и мой муж. Гордились друг другом. Относились друг к другу с глубоким уважением, а часто и с восхищением.

Наш Переделкино-Мичуринец — это застолья со стихами, песнями, нескончаемыми разговорами, это родство, когда каждый делился тем, что важно для него. Звучала музыка. Особенно запомнились празднования Нового года. Сначала шумный и

весёлый праздник дома с лотереями и подарками, песнями, шутками, а потом шальные гуляния по Переделкину, хождения в гости друг к другу.

Наголодавшись в юности и в ранней зрелости, отец избрал такой образ жизни, при котором водка лилась рекой, и всегда у него было очень много гостей.

В этот период отец довольно много зарабатывал. Песни на его стихи исполнялись по радио и телевидению, с эстрады… Шли «авторские». Но отец почти все их тратил на гостей, на поездки. Главным для него было творчество и — праздник жизни.

Моя мать так же относилась к жизни, как и отец. Была очень щедрой и легко расставалась с деньгами. Например, вышла у неё, наконец, книга о биологах — «Осторожно, любовь» — получила она большой по тому времени гонорар, так за неделю от него ничего не осталось: подарила нам с братом по большой сумме на первый взнос в кооператив (строились тогда хрущёвские пятиэтажки), часть денег отдала какой-то нуждавшейся семье, накупила подарков…

Видимо, по наследству и ко мне перешло такое же отношение и к делу, которому я отдаюсь всей душой, и к деньгам.

Помню, как-то к нам в гости пришёл мой друг с новой женой. Очень красивая, совсем молоденькая, она походила по дому, потрогала корешки книг в старых, немодных стеллажах и вдруг спросила: «А что вы будете продавать, когда Ошанин умрёт? Ни бриллиантов, ни других драгоценностей, никаких дорогих вещей…».

Мы с отцом посмеялись тогда над её словами! Но они вспомнились задолго до смерти отца.

Когда разгромили Вторую школу и я стала работать в издательстве «Современник», у меня совсем изменилась жизнь. Так как в издательство я должна была приезжать на дежурство и на встречи с авторами лишь раз в неделю, главным оказался письменный стол дома.

У нас с отцом были очень похожие ритмы жизни, мы с ним оба были очень организованные люди и самодостаточные: мы умели распределять своё время и жёстко к нему относиться. С утра, после уютного завтрака, мы разбегались по кабинетам и до обеда работали. Уютно обедали. Потом шли гулять в лес. Мы очень любили гулять вдвоём. Наговоримся досыта, перескажем друг другу, что сегодня написали: он прочитает свои новые стихи или песню, я расскажу ему о своей новой главе или новой сцене. Мы любили говорить обо всём. Именно в такие прогулки по лесу или на кладбище (в конце жизни отца мы часто ходили с ним на могилу к матери) он рассказывал мне об отношениях с матерью, говорил о своих чувствах к ней. Наши разговоры о ней, наши

творческие разговоры, наши совместные (или по комнатам) чтения после прогулки (несмотря на то, что отец плохо видел, он очень много читал — с лупой!), наша увлечённость работой и уважение друг к другу были тем главным, что связывало нас.

Но были и вещи разъединяющие. Так, мы были по разные стороны в политическом плане.

Отец искренне, всей душой верил в советскую власть, доверчиво относился к сменяющимся лидерам. Думаю, это происходило по двум причинам. Он любил свою страну не рассуждающей любовью и служил ей, как умел. Вторая причина, может быть, более серьёзная. Ему было пять лет, когда большевики взяли власть, и, несмотря на голод, холод, лившуюся кровь времён его детства и отрочества, он распахнутой душой воспринял лозунги советской власти. На самом деле, как романтично: делать всё всем вместе — жить как бы большой семьёй, жертвовать собой для других, для общего дела, а главное, для Родины. Эта вера усугублялась тем, что у отца не было другой прошлой жизни, сравнивать было не с чем, и он из-за разрухи в стране, из-за тяжёлого материального положения семьи не смог получить настоящего образования — рано пошёл зарабатывать. И, думаю, фанатичная вера в новую светлую жизнь, в идеи братства, любви и служения Родине заменили ему образование.

Я тоже очень любила общую жизнь и тоже всегда жила не для себя, жертвовала собой ради дела и людей. Но мне было очень больно видеть, как живут старики в деревне, как унижен человек в Союзе: он — винтик, болтик. Остро ощущала я безжалостное отношение к человеку, расхождение между лозунгами и тем, что творилось в стране на самом деле. В стране царила ложь.

Отцу понадобилась целая жизнь, чтобы понять это.

Мы яростно спорили. Ссорились. Помню, как-то он потребовал, чтобы я приняла какого-то высоко стоявшего чиновника — он пригласил его специально, чтобы поучить меня, изменить мои взгляды на жизнь. И это — после семнадцати лет моей педагогической практики, из которых десять я проработала во Второй физико-математической школе, считавшейся в то время свободолюбивой! Я отказалась. Он закричал, что я враг его. Я побросала вещи в чемодан и собралась уезжать. Вспышки были безжалостные. В хорошие минуты я пыталась раскрыть ему очевидное — как на самом деле жили люди, что происходило в сумасшедших домах, где здоровых, но политически опасных людей уничтожали лекарствами… Потом стала давать ему книги — Солженицына, Копелева, Буковского, Конквеста. Они явились для него потрясением. Думаю, книги, наши разговоры — а говорили мы в семье часто и о многом — помогли отцу осознать истину. Но только к концу жизни, когда изменилось политическое и экономическое положение в стране,

когда он сам полной чашей хлебнул равнодушие к человеку, нищету, эгоцентрическую сущность власть предержащих.

Отца отличала юношеская, острая, необыкновенная жажда жизни. Он любил каждое мгновение, старался испить его до донышка, всегда был готов к любому новому приключению. Он был очень лёгок на подъём.

«Па, поехали в театр!» — «Поехали!»

«Пошли в лес [в любую погоду, в дождь, в бурю]!» — «Пошли!»

Он легко срывался в любой город, в любую авантюру. Он жадно любил путешествовать — открывать новые страны и города. В его песне «Дороги» — не только тема войны, но и тема всей жизни.

Так же остро он любил хорошие чужие стихи и песни. У него всегда работал приёмник с передачами «Доброе утро», «Юность» и другими. Он жадно слушал новые песни. И часто звал меня: «Скорее иди сюда, какие слова, какая мелодия!».

Вообще, ощущение счастья, которое испытывал он, открывая прекрасные стихи, прекрасные песни, прекрасные книги, было у него настолько искреннее и заразительное, что невольно и мы все становились соучастниками этой чьей-то удачи. Ему начисто было чуждо чувство зависти, соперничества. Он любил просто поэзию, просто слово. Это он, когда я была совсем ещё маленькой, познакомил меня со стихами Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Гумилёва, раннего Маяковского… И часто, когда мы гуляли по лесу, читал мне лучшие стихи советских поэтов (они все представлены в книге его воспоминаний и раздумий — «Разрушение веры»).

Думаю, жажду жизни отца больше всего раскрывали его отношения с женщинами. Отец всегда был с подругой. И каждый раз он создавал себе идеал. Так как он очень плохо видел, он не знал, какова внешность его возлюбленной и как мимика передаёт её внутренний мир, но свой идеал он поднимал очень высоко. Он красиво любил. Обожествлял женщину, делал её своей музой. Благодаря высокому напряжению влюблённости создавались замечательные любовные стихи. Например, цикл стихов: «Ты есть у меня или нет», посвящённый трогательной девочке Гале Серёжкиной. Замечательных, чистых, светлых любовных стихов, навеянных его влюблённостью в разных женщин, у него много. Они — жажда его души любить.

Большим испытанием для него в жизни, приведшим к катастрофе и его, и всех членов семьи, явились политические и экономические перемены в России. Создалась ситуация, при

которой отец стал ощущать себя ненужным в своей стране. Его перестали приглашать на выступления, сами собой уничтожились большие площадки его встреч с почитателями — Колонный зал, выступления на заводах, в других городах. Почти перестали звучать по радио и телевидению его песни.

Тогда и вспомнились слова молоденькой жены моего друга: «А что вы будете продавать, когда Ошанин умрёт?».

Вспомнил их сам отец, когда перестали приходить «авторские». Все привычные нормы рушились. Часто денег не хватало на еду. В один из таких моментов отец продал единственную ценную вещь в доме — старинный серебряный семейный самовар, доставшийся ему от его матери. В другой — продал орден Ленина, которым очень гордился.

Первыми сорвались дети. Они уехали на заработки. Алёша и Маша — в Америку, Глеб и Дина — во Францию.

Мы с Сергеем попали в тяжёлую ситуацию. Семья распалась. Что делать? Мы решили поехать ненадолго в Америку — Сергей получил предложение поработать в Массачусетском технологическом институте.

Наша цель была проста — попытаться выбраться из пропасти.

Всем нам казалось тогда, что это лишь короткий период: в стране скоро всё встанет на свои места, экономика наладится, мы заработаем за границей денег, вернёмся и будем жить по-прежнему — все вместе.

Как-то ни секунды не казался мне отец старым. Видимо, потому, что, как я уже говорила, он никогда не жаловался на своё самочувствие.

Оставался он с женщиной много моложе него. Но всё-таки не один. И это облегчало нам наше решение уехать.

В том году трагически погиб мой брат.

Когда мы приехали на «побывку» домой, мы отца не узнали. Встречал нас старый больной человек. Мы уговорили его поехать с нами.

Именно в год, что отец жил с нами в Америке, он написал свою книгу «Разрушение веры». Далась она ему трудно. Он уже ни во что не верил, был глубоко подавлен, физически совершенно разбалансирован. Ощущение собственной ненужности и бессмысленно прожитой жизни сводило его с ума. И мне понадобилось очень много сил, любви и напористости, чтобы убедить его в том, что он мог написать хорошую книгу, что он был нужен, что жизнь прошла не зря. С вечера я заставляла его рассказывать о своей жизни, на другой день утром он писал о том, что рассказал накануне, потом я набивала этот кусок на компьютере. Так родилась книга.

Но год пролетел. И отец затосковал по России. Он не мог без учеников. В течение долгих лет жизни он преподавал в Литинституте и очень любил возиться с чужими стихами, помогать молодым встать на свои собственные поэтические ноги. Он затосковал по прошлой жизни.

Два последних года были очень тяжёлыми для всех нас.

Сейчас перехватывает горло от боли, от невольного чувства вины: я должна была угадать его внутреннее состояние, я не имела права уезжать от него, старого, больного! И это — моя мука до сих пор.

Но в последние годы были и радости у отца.

С Литинститутом ничего не получилось, но Тамара Ворошилова дала объявление в газету и организовала поэтический семинар. Позже секретарём его стала Александра Ильина. Многие ученики оказались талантливыми, интересными людьми. Они окружили отца почитанием и вниманием.

Был и ещё один праздник в жизни отца: ежегодный Фатьяновский фестиваль, проходивший в Вязниках в память о замечательном поэте-песеннике Алексее Фатьянове, который был другом отца. Отец на этом фестивале стал бессменным председателем! На «солнечной поляночке» ежегодно собирались тысячи людей. Приезжали на фестиваль знаменитые поэты, композиторы, певцы. Отец молодел душой во время этого праздника.

Вина ли его, беда ли его — излишняя доверчивость и неумение разбираться в политической ситуации своей страны? Не знаю. Человек эмоциональный, не способный аналитически подходить к происходившим в нашей стране событиям, с начала и до конца жизни он был искренен в своей вере в высшие идеалы, в бескорыстное служение Родине, в слова, произносившиеся с трибун. Он старался жить соответственно им, не ловчил, всю жизнь тяжело трудился.

Крушение своей веры он переживал трагически. И, уверена, глубокое разочарование в том, что он наблюдал, растерянность, неумение найти своё место в новой жизни, ощущение ненужности соотечественникам и России приблизили его конец.

Одно могу засвидетельствовать: всегда отец был честен и чист и очень мучился из-за тех ошибок, которые в жизни совершил. Потому и живы до сих пор его песни — не конъюнктурные. Люди поют «Дороги», «Волгу»… поют и плачут. Даже, казалось бы, такая политическая, как «Гимн демократической молодёжи» — отец подслушал эти слова и чувства у народа! В них вложено не сиюминутное, а вечное, то, что нужно каждому всегда: радость жизни, любовь к человеку и Родине.

Ну а Переделкино — это малая моя Родина, благословенный уголок Земли. Это — определённая аура, когда в воздухе

вместе с творческой тишиной (посёлок довольно тих в рабочие часы) продолжают жить хоть раз звучавшие стихи, песни, рассказы; это атмосфера созидания: сама собой рождается жажда ощутить что-то «над»… Не знаю, как точнее сформулировать это ощущение. Но мы как-то все соединены этой общей тайной, о которой не говорят, которой не хотят дознаться.

Анастасия Метлицкая

Наш дом в Мичуринце

История нашего дома в Мичуринце неразрывно связана с историей моей семьи, с моими родителями.

Мой папа, Зусья Абрамович Метлицкий, был профессором, доктором наук, садоводом, автором многих книг, в том числе и учебников по садоводству и плодоводству. Родился он в 1902 году в Оренбурге в мелкобуржуазной еврейской семье и был любимым внуком очень религиозного деда. В детстве мой папа часто болел — думали, что у него больное сердце — и он много времени проводил дома. Когда ему было лет восемь, он во дворе раскопал немного земли, что-то посадил и стал выращивать. Евреи вообще не занимались сельским хозяйством, потому что им было запрещено иметь землю. А папа мечтал о земле, мечтал уехать ради этого в Палестину; вот он и стал самостоятельно добывать знания по садоводству, даже выписывал какой-то специальный журнал.

Он закончил гимназию, а после революции, в 1920 году, был направлен на учёбу в Самарский университет на агрономический факультет. Затем, в 1921 году, перевёлся в Москву — в сельскохозяйственную академию имени Тимирязева (тогда она называлась Петровской академией). В то время это было самое сильное учебное заведение после Московского университета, там работали выдающиеся учёные — Дмитрий Николаевич Прянишников, Николай Иванович Вавилов и многие другие. Папа стал изучать садоводство под руководством профессора Петра Генриховича Шитта. Будучи студентом, папа одним из первых ездил к Ивану Владимировичу Мичурину и привёз в Академию первую же коллекцию его сортов.

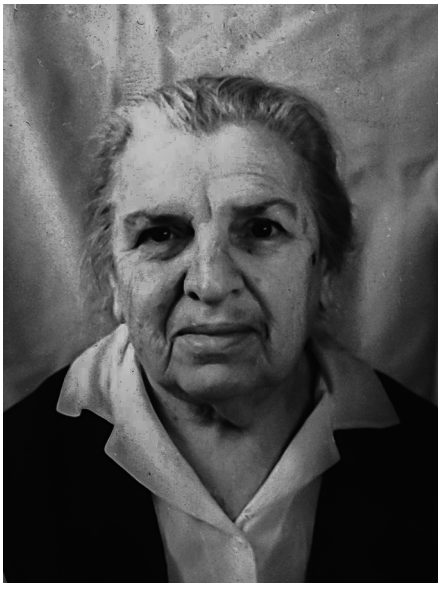
Когда папа учился в Тимирязевке, он жил у братьев на Остоженке и ходил каждый день в Академию пешком, потому что на проезд денег у него не было. Никакой стипендии ему не платили, помощи ниоткуда не было, и чтобы выжить, ему приходилось с ранней весны до поздней осени уезжать на заработки. Один раз, например, он ездил заготавливать плоды в Сочинских горах, сушил там чернослив. Заработанные деньги папа раскладывал так, чтобы ему хватило на весь год, — рубль в день.

В 1927 году папу зачислили сверхштатным (без стипендии) аспирантом кафедры плодоводства. Затем, в 1931 году, из-за реорганизации Академии он переехал в Мичуринск (раньше город

Козлов в Тамбовской области), где организовал целый учебный институт и перетащил туда своих друзей-биологов: Григория Порфирьевича Привалова, с которым папа дружил ещё студентом, Бориса Никифоровича Анзина… Они, кстати, тоже потом жили здесь, в Мичуринце.

В 1936 году папа вернулся в Москву, и это было спасительно, потому что в Мичуринске начались аресты, и, останься папа там, он бы погиб. А в Москве он как-то затерялся и уцелел. И стал снова работать в Тимирязевке. Создал там, к примеру, уникальный сад, где была собрана огромная коллекция мичуринских сортов и где потом практиковались сотни студентов-тимирязевцев.

И вот, собственно, в том же 1936 году, когда организовывался дачный кооператив для плодоводов из Тимирязевки и Наркомзема (будущего Министерства сельского хозяйства), его и назвали «Мичуринец», в честь Мичурина. Папе предложили взять там участок, который сначала он не очень хотел брать, так как всё время проводил в саду Тимирязевской академии. Фактически мы стали тут жить только после войны, с 1947 года.



Моя мама, Нина Моисеевна Фиш (Метлицкая), по образованию была педагогом, педологом. Она работала по специальности не очень долго, потому что сначала уехала с папой в Мичуринск, и дальше — по возвращении и до начала войны — работала в библиотеке библиографом. После войны она уже больше не работала и всю свою жизнь отдала нам: папе, моему старшему брату Олегу и мне. Олег, как и папа, был замечательным биологом, доктором сельскохозяйственных наук, профессором, одним из ведущих учёных в области защиты растений. Сейчас никого из них уже нет…

В войну мы были в эвакуации. Папа с трудом посадил маму в последний эшелон, уходивший в Самарканд 16 октября 1941 года, в тот день, когда все думали, что Москву займут немцы. Мама ехала с четырёхлетним Олегом, да ещё беременная мной, — я родилась в январе сорок второго года. У неё с собой была пачка печенья и мешочек варёной картошки… Этим же эшелоном ехала Любовь Орлова со своими собачками и другие знаменитости. Ну и мама на третьей полке.

Папа остался спасать имущество Тимирязевской академии. Там были лошади, и он их повёл с плодовой станции сдавать в армию. И дошёл с ними пешком до Горького, то есть, до Нижнего Новгорода. Там он сдал этих лошадей, стал добираться в Самарканд и до нас доехал уже после Нового года. Тут родилась я, он пошёл в эвакопункт меня регистрировать и там заразился сыпным тифом. Мама его выхаживала: отправлялась за десять километров в госпиталь, а меня оставляла на брата. Потом она возвращалась и всю ночь меня кормила. Выжили мы только благодаря помощи академика Прянишникова. В их доме была комната, куда можно было ещё кого-то подселить, и они решили взять маму, хотя она была беременная и с маленьким ребёнком. Это были настоящие милосердные христиане. Сам Прянишников был очень крупным учёным, замечательным человеком. Если ему из Академии наук присылали, скажем, масло, он всегда спрашивал: «А ребёнку выделили?». Ребёнку — это моему братишке. Вот так они о нас заботились.

После тифа у папы случились сильные осложнения, в результате которых он практически перестал слышать, у него были поражены сердце и сосуды. Всю свою дальнейшую жизнь он превозмогал болезни. Он вообще был человеком исключительной воли, мужества и оптимизма.

Хотя папа и получил участок в 1937 году, он посадил тут только сад, никакого строения у нас поначалу не было. А после войны, в 1946 году, папе прислали уведомление: «Если не застроите участок — отберём». И тогда папа с рабочими, которые его очень любили, напилили доски на пилораме в Тимирязевском лесу, перевезли в Мичуринец и быстренько построили избушку. И папа сказал маме: «Ну, можно переезжать».

Приезжаем мы и видим: стены стоят, а фронтонов нет. И моя находчивая мама привязывает к балкам канаты и говорит нам: «Это у нас будут качели, а это — гигантские шаги!». Я это очень запомнила. Мне тогда было пять лет, а Олежке — девять.

Стали мы жить. И замечательно жили, хотя не было ни печки, ни воды, вообще всё было по-простому. Мама у меня была весёлая, общительная. Она очень любила детей: собирала всех окрестных ребятишек, и мы ходили в поход. Брали бидончик кипячёной воды, лук, хлеб… Через детский санаторий — бывшую усадьбу Самариных — ходили купаться на пруд. Тогда санаторий был не лёгочный, а туберкулёзный. Мы шли и видели детишек с костным туберкулёзом, которые лежали на терраске, и так тяжело было на них смотреть! Ты бежишь купаться, большой компанией, а там ребятишки, твои ровесники, лежат неподвижно на кроватях…

По вечерам в Мичуринце играли в волейбол — в конце улицы Ленина была волейбольная площадка. А у нас на участке

была крокетная площадка, потому что Олегу по здоровью нельзя было играть ни в какие подвижные игры, и все приходили играть к нам в крокет.

Вспоминается много эпизодов из нашей тогдашней жизни. Мы жили довольно голодно, но никогда не унывали. Помню, мама варила обед из горсточки разных круп и весело говорила: «Сегодня у нас суп называется “смешай-Господи”, а завтра будет “зубы на полку”». Но вечером папа привёз большой качан капусты — значит, еда на завтра появилась!

У нас был очень открытый дом. Кроме собственных детей и племянников здесь часто жили одноклассники Олега, отцы которых погибли на фронте. И соседские ребятишки всегда прибегали. Обедали все за длинным деревянным столом. У мамы была в руках деревянная ложка на палке, и тому, кто балуется, могло и ложкой по лбу достаться!

Каждое воскресенье к нам приезжала мамина подруга детства, замечательный врач, тётя Феня. Она всегда жила в городе и редко бывала на природе. Мы ходили с ней собирать грибы, и она огорчалась, что совсем их не может найти. Тогда мы придумали — забегать вперёд, и, пока она не видит, ставить перед ней белый гриб. Она его находила и очень радовалась. Правда, на третьем грибе тётя Феня заподозрила неладное — уж слишком легко гриб оторвался!

Много было веселья и доброты в нашем доме. Как-то гостила у нас моя пятнадцатилетняя двоюродная сестра, Мара.

Она стеснялась и грустила, и мама решила её развлечь. Мамина младшая сестра переоделась в бразильского плантатора — Дона Цезаря де Базана (папины штаны, на голове — сомбреро из надувного круга), который пел Маре серенады и сватался к ней. Потом мама писала письма Маре от имени этого плантатора. Письма были очень яркие: у мамы, безусловно, был литературный дар. Прошло уже почти семьдесят лет, а Мара до сих пор вспоминает это время, как самое весёлое в её жизни.

Наши бытовые условия улучшались очень медленно. В начале пятидесятых годов построили на станции платформу. Повесили круглые фонари, и все ходили туда вечером гулять. Раньше, когда платформы не было и мама приезжала с нами на поезде, нужно было из вагона выпрыгивать на землю. Сначала выпрыгивал Олежка, потом спрыгивала мама, потом кто-нибудь выбрасывал ей меня. А когда приезжали папины сёстры, то мы бежали к поезду с табуреточкой, чтобы подставлять: они прыгать не могли.

Где-то году в 1951-ом к нам провели электричество. А до этого жили с керосиновыми лампами и готовили на керосинках. Привозили на лошади бочку с керосином, и мы тащили баки домой. Мама мечтала о том, чтобы, когда мы разбогатеем, купить трёхфитильную керосинку — быстрее готовить.

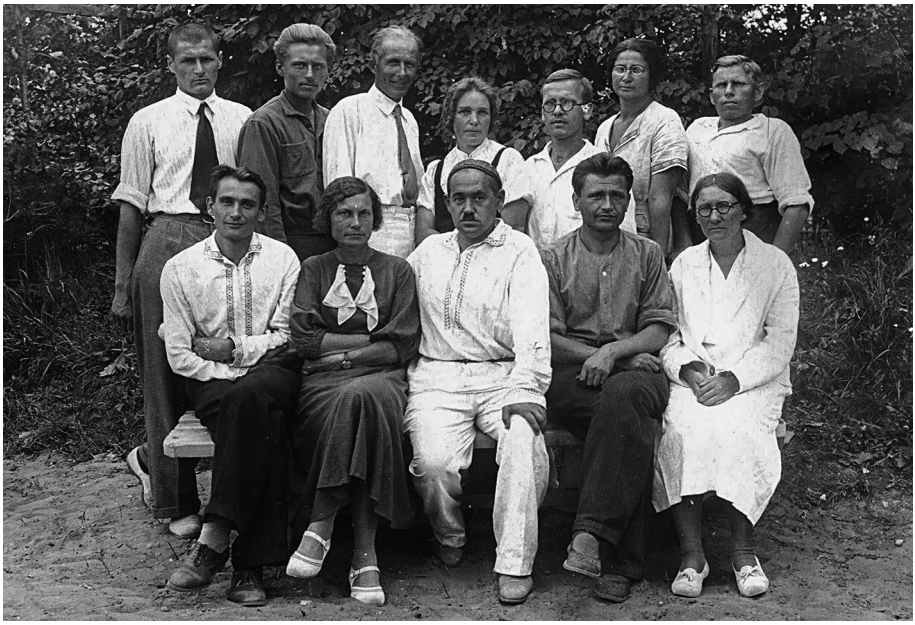
Главным нашим занятием был, конечно, сад. Мы всё время рылись в земле! Урожаи выдавались очень большие, мы делились с родственниками, знакомыми. Никогда ничего не продавали. Растили зелень на еду, картошку… Я до сих пор обожаю растить картошку! Раньше я покупала сортовую на селекционной станции в Тимирязевке и гордилась, когда у меня урожай выходил один к двадцати. А ещё папа сажал много цветов, он их выписывал из питомников. Какие у нас были цветы — восемь сортов роз!

Даже будучи тяжелобольным человеком, папа работал в саду с весны до осени. Главной специальностью его были яблони. Как только наступала весна, он шёл в сад. И говорил маме: «Ну я же Антей! Прикоснулся к земле и ожил!». Его действительно земля

оживляла, хотя он еле-еле ходил: как только выезжал в сад, за ним даже студенты не могли угнаться. Студенты папу очень любили, он много с ними общался и подготовил многих будущих учёных-биологов. Его энергия, ум и доброта привлекали к нему людей, воодушевляли их.

С каждым он умел найти общий язык. Однажды в 1957 году я ездила с ним в Молдавию. Папа разрабатывал там метод посадки садов на террасах — он вообще исследовал Закавказье, Северный Кавказ, Крым, Приднестровье. Так вот, я помню, как он разговаривал со старым молдавским крестьянином. Сначала тот только молча слушал. А потом они с папой говорили и говорили, махали руками и в конце расстались лучшими друзьями.

Возвращаясь к истории Мичуринца, надо сказать, что с самого начала было задумано, что здесь посадят опытные сады. Был и общественный сад — за ним все должны были ухаживать, поэтому устраивали субботники. Мы там косили сено. Потом на участках, которые один за другим появлялись (их сначала раздавали, потом и продавать стали), были посажены сады нашими замечательными плодоводами. В Мичуринце жили (и потомки многих до сих пор живут): Сергей Тихонович Чижов, селекционер груш; Полина Ивановна Житнева, специалист по чёрной смородине; Борис Никифорович Анзин, занимавшийся вишней и сливой…



У Анзина выходили очень хорошие популярные книжки для любителей садоводства. Борис Никифорович был удивительным, энциклопедически образованным и невероятно деликатным человеком. Мама рассказывала о нём такую трагикомическую

историю. Однажды Борис Никифорович ехал в трамвае, и у него с собой был плохо закрытый окулировочный нож. И вот в карман к Анзину полез вор и об этот нож порезался. А Борис Никифорович, увидев это, стал ему помогать и даже перед ним извиняться!

С писателями, жившими в Переделкине, мы общались мало, никаких особых отношений с ними у нас не было. Но у меня с Переделкиным связана одна интересная история. У моей мамы было четыре сестры, две из которых работали детскими библиотекарями. Тамара Моисеевна работала в детской библиотеке имени Льва Толстого. Эта библиотека была на Полянке, напротив Казачьего переулка. Там стоял такой особнячок, потом на его месте построили книжный магазин «Молодая гвардия». Раньше этот район называли «вороньей слободкой», люди жили в полубарачных условиях. И детская библиотека оказалась настоящим островком культуры — в ней были младшая, средняя и старшая читальни. Приходили дети всех возрастов, даже которые ещё читать не умели, а когда вырастали, приводили своих детей.

Для меня эта библиотека стала просто родным домом. Я даже работала там на каникулах — приезжала помогать тёте Тамаре. И вот как-то одна женщина, учительница, принесла книжку, которую ей дал кто-то из её учеников. Когда он с мамой был в эвакуации, отец приехал с фронта навестить семью и обнаружил, что у сына нет никаких книжек. Тогда папа сам — по памяти! — сделал «Мойдодыра». И текст написал, и картинки нарисовал акварельными красками. Эта книжка попала потом в библиотеку к тёте Тамаре, а когда та уходила на пенсию, то отдала её моей маме. И сказала: «У тебя это будет целее».

В 1969 году мама взяла того «Мойдодыра», написала историю его создания и отправила Корнею Ивановичу Чуковскому, жившему неподалёку. Он послал ей в ответ совершенно чу́дную открытку, в которой говорил, что книжка вернулась в свой дом, и вообще он был очень тронут… Потом оказалось, что письмо от моей мамы было последним письмом, которое Корней Иванович получил в своей жизни — в октябре 1969 года. В восьмидесятые, уже после смерти мамы, я купила книгу воспоминаний о Чуковском, в которой Клара Израилевна Лозовская, его секретарь, рассказала эту замечательную историю[1].

[1] «В раритетах хранится самодельная книга “Мойдодыр”, которую сопровождало такое письмо: “Дорогой Корней Иванович! Посылаю Вам небольшую книгу. Она долго у меня хранилась, но лучше ей быть у Вас. В войну молодой капитан, долечиваясь после ранения, нашёл в эвакуации жену и маленького сына. Не было книг. Он много читал сыну на память, а эту сам написал и иллюстрировал. […] Я помню, отец погиб на фронте. Мальчик хранил эту книгу. Потом подарил своей любимой учительнице, т.к. судьба гоняла его по всему Союзу. Потом

Вообще, я думаю, что детство определяет в человеке всё. Мне сейчас без малого восемьдесят лет, и я до сих пор живу той культурой, тем оптимизмом, которые я получила в детстве.

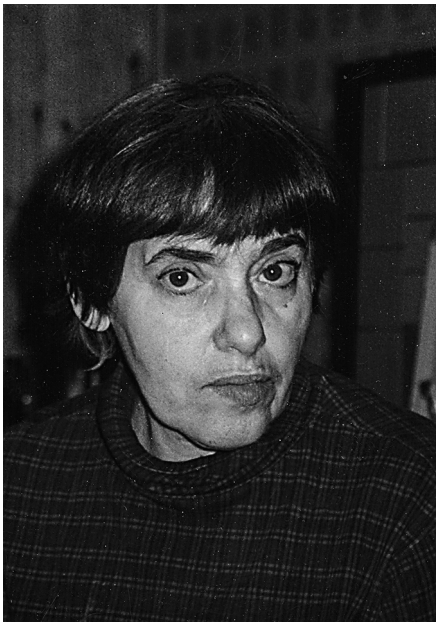
Под папиным влиянием я всю свою жизнь занималась биологией. Я в ней, можно сказать, выросла. Мне было шесть лет, когда — в 1948 году — проходила знаменитая августовская сессия ВАСХНИЛ[2], на которой Лысенко разгромил всех наших замечательных генетиков. В советское время ведь было два «великих» деятеля биологической науки: Василий Вильямс, который придумал травопольную систему (саму по себе, может, и замечательную, однако насаждалась она зверским образом), и — Лысенко. А ведь у нас генетика была на очень высоком уровне, одна из первых в мире. Итак, всех разогнали, кого-то посадили, кто-то покончил с собой, кто-то остался без работы и пошёл в дворники. Мой папа тоже остался без работы, из Тимирязевки его «ушли». Я отчётливо помню этот мрак сорок восьмого года. Потом ещё было «дело врачей» в 1952–1953 годах, страшное время…

Я училась на биологическом факультете МГУ (раньше он назывался биолого-почвенным) уже во времена Хрущёва. После смерти Сталина, начиная с 1956 года, настоящие биологи снова оживились, но Лысенко быстро нашёл подход к Хрущёву, и генетиков опять стали зажимать. А ведь это были годы, когда открыли генетический код. И вся «мичуринская» биология, которую поддерживал Лысенко, выглядела полным мракобесием.

Заведовал кафедрой генетики в те годы Всеволод Николаевич Столетов. Половину курса он читал нам классическую генетику, а полкурса — «мичуринскую». И было непонятно — как же сдавать экзамен? Тут уж, к кому как попадёшь. Если попадёшь к молодому аспиранту, то можно смело рассказывать «как есть», а если попадёшь к старому преподавателю? Я накануне экзамена не выдержала, позвонила своей многолетней подруге и соседке по Мичуринцу, Вере Григорьевне Приваловой. Она была уже аспиранткой на кафедре генетики и меня опекала. Я пожаловалась: «Вера, я не могу это учить». И она меня выручила — приехала на кафедру и сама приняла у меня экзамен, поставила мне «отлично».

передали её мне. Я её тоже очень берегла. А теперь мы решили отдать её Вам. Пусть будет у Вас, как доказательство любви и уважения Ваших маленьких, больших и совсем старых читателей. С искренним уважением *Н. Метлицкая*". В книжке одиннадцать страниц. На последней указано: "Соликамск, 1943". Текст написан тушью, печатными буквами. Рисунки — акварельными красками. Слово "Мойдодыр" "издатель" вывел из нарисованных одёжных щёток и мыльных пузырей» (Воспоминания о Корнее Чуковском. Л., 1977. С. 236–237). — *Здесь и далее прим. ред.*

[2] Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина.



Вот так я избавилась от лицемерия. Вся моя профессиональная деятельность до сих пор связана с биологией. И сын мой, Ян, — тоже биолог. Так что нас уже — три поколения биологов.

Посёлок Мичуринец для меня не просто неотъемлемая часть жизни — это моя Родина. И — единственная Родина, на самом деле, потому что в Москве мы много раз переезжали, а здесь был наш дом.

А ещё Мичуринец — это люди, которые тут жили: прекрасные плодоводы, о которых мы уже говорили, и люди других профессий.

Вот, например, недалеко от нас жил Казимир Дмитриевич Трофимов, создатель «Щуки-малютки», нашей знаменитой подводной лодки. С ним и его семьёй мы очень дружили. У него была удивительная судьба, сложная и драматичная… В Мичуринце жили и художники, и режиссёры, и актёры: Анатолий Зверев, Эфрос, Баталов, Крымовы. Литераторы, конечно, тоже; особенно, когда появилась улица Литгазеты (Довженко). Сначала — год или два — там жил сам Александр Петрович Довженко, даже посадил свой яблоневый сад. Когда он умер, в его доме жила Юлия Солнцева. Но каких-то особых отношений ни с кем из живших на улице Довженко у нас не сложилось. Конечно, было очень приятно, что рядом ходит Юрий Щекочихин, что неподалёку живёт Булат Окуджава. У меня даже была мечта: собрать пакет смородины и повесить ему на калитку. Но я так и не решилась…

Помню, как однажды мы с мужем пошли на могилу Бориса Пастернака. Дошли до мостика, даже ещё не спустились с горки, и услышали, как Евгений Борисович Пастернак читает стихотворение «Август». Был туманный день, и эхо голоса раздавалось далеко-далеко. А голос — тот же самый, пастернаковский! Как будто сам Борис Леонидович нам читал. Мы стояли и слушали… Но моё главное общение с писателями происходит через их книги. Читаю я много и постоянно. А здесь мы — Переделкино и Мичуринец — просто соседствовали и продолжаем соседствовать.

Иллюстрации
(из личного архива автора — публикуются впервые)

Стр. 105 — Нина Моисеевна Фиш, мама Анастасии Метлицкой.

Стр. 107 — В саду у дома Метлицких в Мичуринце.

Стр. 108 — Зусья Абрамович Метлицкий в Крыму, 1964–1965 годы.

Стр. 109 — Зусья Абрамович Метлицкий (в центре в нижнем ряду), Полина Ивановна Житнева (за ним во втором ряду), Борис Никифорович Анзин (справа от неё).

Стр. 112 — Анастасия Зусьевна Метлицкая.

А.Д. Гринберг. Лукино. Крыльцо Преображенской церкви. Негатив, 1920-е гг.
Мультимедиа Арт Музей, Москва (Мультимедийный комплекс актуальных искусств)

Юрий Ряшенцев
Стихотворения

***

Зелёное лето стоит над рекой.
В сосновой моей стране
безмолвный —
без волн и без молний — покой,
настоянный на сосне.
Я видел, я слушал и трогал родник.
Я трогал цветы —
мне тогда напрямик
открыли свои васильковые души
растроганные васильки.
Растрёпанный выводок пёстрых частушек
вдруг вспархивал из-за реки.
И белка всё прыгала,
белка двигала
кончиками ушей,
в зелёных, светло-зелёных иглах
казалась ещё рыжей.
И ночь подступила с луною немыслимой.
Бродил я, бездумнейший и легкомысленный.
И лунные тропы… И травы… И вот —
как белая точка —
дот.

…О, какая тишь — и никто не поёт, —
я не слышал такой никогда ещё!
По скелету белого дота ползёт
муравей, бессонницей страдающий.
Иногда останавливается на месте,
и тогда мы задумываемся вместе.
Он — о том, что тли не подоены,
ходы-выходы не достроены.
Я — о том, как умеют напоминать
о себе
погибшие воины.

***

Плетёный свист ветров и птиц
взвивался над посёлком.
И круглый лист ложился ниц
в сомнении недолгом.

И козьей шерсти лёгкий клок
метался вдоль по саду
и всё пытался и не мог
преодолеть ограду.

И ворот медленный скрипел,
ведёрко выбирая.
И ворон меченый сидел
на выступе сарая.

И в той реальности рябой,
столь достижимой глазу,
всяк сущий был самим собой,
лишь я был всеми сразу.

Иначе как я объясню,
что дерево и птица
меня забыли на корню,
едва успел я скрыться?

Иначе как понять тот знак,
что ворот наш скрипучий
скрипел не то, не то, не так,
когда вдруг свёл нас случай?

А я, уже не молодым,
но в упоенье странном,
вновь был клочком, седым, как дым,
и тем листочком золотым,
и кладезем, и враном!…

***

На студёном берегу на морском —
Полоса сухого снега с песком.
То ли будет, то ли нет ледостав —
Для зимы ещё не писан устав.

В светлом небе три сосновых ствола —
Буйна медь на тихом фоне стекла.
И стучит какой-то лишний мотор.
И лежит необъяснимый простор.

И не кажется уже ничего.
Чего нет ещё — не будет того.
Да об этом ли, по совести, речь…
Кабы то, что есть, подольше сберечь?…

Ибо — кто я, если вдруг предпочту
Сущей прелести — пустую мечту?
Что за рабство — ничего не ценя,
Ждать в приёмной у грядущего дня!

Чего нет ещё — не будет уже…
Есть лишь отсвет — на цветном витраже.
Есть две строчки — обещанье само.
Есть из дома бытовое письмо…

И над маревом вселенской воды
Птицы чертят неземные ходы.
И не сразу молвишь слово, не вдруг,
И к рыданью приближается звук.

И глядишь вдогонку птицам морским,
Ошарашен горьким счастьем людским:
Ничего в нём ни разъять, ни связать —
Жалко, некому спасибо сказать…

Смерть Василия Кузьмича

Умерев, поначалу Василий Кузьмич растерялся…
Путь, лежащий пред ним, где-то в зарослях синих терялся.
Указателей не было… Свет, тишина и покой.
Да внезапно возникший щенок, лупоглазый такой.

— И куда мне? — Кузьмич вопросил, ожидая ответа,
разумеется, не от щенка — от покоя, от света.
Но ответил щенок, обнаружив, что он — неземной:
— Не тушуйся, Кузьмич, не боись, а ступай-ка за мной!…

Шли минут этак сорок. Дорогою разговорились.
На деревьях качались плоды. И ручьи серебрились.
— Ты куда же ведёшь-то меня? Неужель к самому?…
Но на этот вопрос Кабысдох не ответил ему.

— Не боись и расслабься, — сказал он. — Ты, вроде, в порядке.
И лукавым глазком подмигнул: — Ну, а как там внучатки?
Ты меня не узнал, а ведь ты меня пнул как-то раз.
Было… Тоже мне — грех! Из несмертных, небось, там у нас…

И вздохнул, вспоминая Арбат или, может, Подлипки…
Колыхались цветы, запредельно прекрасны и гибки.
И Кузьмич морщил нос в предвкушенье грибного дождя
и свободней дышал, постепенно в себя приходя.

И уже им, похоже, идти оставалось немного.
И уже выходила куда-то (куда же?) дорога.
И до ближней веранды, где ждал, очевидно, Творец,
оставалось три шага. И два. И один наконец.

***

Жёлтый лист летит с вершины клёна,
Но не в зыбь травы, а в синеву.
Думаю без слёз, но неуклонно:
Всё мне ясно. Для чего живу?
Ну, не для того же, чтоб расчистив
Стол, в его рабочей пустоте
Стайку воробьёв и стайку листьев
Завести на клетчатом листе…

Пусть в грядущем, в близкой ахинее
сгинет ночь сорокового дня…
Ведь со мной всем во сто раз сложнее,
пусть и чуть грустней, чем без меня.
А уж как там жизнь отпустит, братцы,
не гадаю. Я её вассал…
Это всё, что мне хотелось вкратце
вам сказать. Подумал. И сказал.

Марк Кабаков

Стихотворения

***

Стучите,
стучите,
стучите, колёса,
Но тише,
но тише,
по стыкам, откосам.
О, дикие мысли, нелепые бреды!
А вдруг не доедут?
А вдруг не приедут?!
Над будкой фанерной
Часы, словно камень.
Минуты по нервам:
Толчками, толчками.
Моя дорогая,
Мои дорогие,
Я вас ожидаю,
Как будто впервые,
Как будто ни разу
Меня не мотало
По мокрым причалам,
По гулким вокзалам.
Скорее,
скорее,
скорее,
скорее!
Любовь не стареет,
Тоска не стареет.
И вот он, грохочущий,
В сером дыму!
Давай, старина,
Я тебя обниму.

Феодосия, 29 мая 1965

***

Я опять, сынок, с тобой
Старой улицей гуляю,
Стерегу и забавляю,
Говорю тебе:
— Постой.
Видишь, яблоки везёт
По дороге чёрный ослик?
Он тебя прокатит после
И морковку погрызёт.
Ты смеёшься. И дрожит
На ресницах крошка хлеба.
Ослик,
Улица
И небо —
Всё тебе принадлежит.
Даже папа —
Только твой.
И, держась за флотский китель,
Мимо солнышка в зените
Поведёшь его домой.

И она откроет дверь
Всех красивей в мире целом!

Как всё быстро отзвенело,
Как всё помнится теперь…

Алма-Ата, 11 июня 1985

***

Ну, что тебе стоит
На улицу выйти,
Где в праздничной хвое —
Морозные нити,

Где в зданье незрячем
Скучает охрана,
Где голуби скачут
У белого храма?

Ну что тебе стоит
На бланке почтовом
Оставить простое
И нежное слово?

Чтоб там, где циклоны
Ревут окаянно,
Где судно поклоны
Кладёт океану,

На той стороне
Одинокого шара
Разлука на миг
Свои когти разжала.

Атлантический океан, 7 января 1992

***

Зелёный туман
Опустился на кроны
На Малой Ордынке,
Остоженке,
Бронной…
На улицах, где
Дерева сохранили
Московские сказки,
Московские были.
Где я ощущаю
Непрочное счастье.
Где старое сердце
Не рвётся на части…

Москва, 30 апреля 2005

***

Переделкино,
Стрелкино,
Белкино,
А случалось еще и Проделкино,
Для словесных забав сочинённое,
Деревянное и зелёное…

Здесь бароны бывали наездами
Между съездами и партсъездами
И доносы читали писателей
На неправедных книгоиздателей.

Берега начинались кисельные
И молочные реки похмельные,
А творцам, не дозревшим до отчества,
Был построен весёлый Дом творчества.

Мной здесь каждая тропка исхожена,
Мне здесь тоже бывало положено
Вдохновение, обитание
И трёхразовое питание.

Как всё быстро на свете кончается.
Снова роща под ветром качается,
Но к закату бредёт Переделкино,
У подъезда торгуют безделками…

Переделкино, 17 июня 2011

***

Где была Неясная поляна,
Так назвал долину классик здешний,
Выросли коттеджи, как ни странно.
Где теперь холмы в наряде вешнем?

Купола времён царя Ивана?
Стены монастырские и башни?
Всё закрыл посёлок безымянный,
Скучный, словно день позавчерашний.

А у неба голубые очи,
А писатель жил через дорогу,
А к погосту тропка всё короче,
Но её не видно, слава Богу.

Переделкино, 24 июня 2011

Алла Рахманина

Духовный дар

«Примите мой духовный дар, Алла…» — так надписала мне в августе 2010 года свою книгу для дошкольников и младших школьников поэт Тамара Башмакова.

«Свои книги, в том числе, и эту, “Февраль-бокогрей”, я издала за свой счёт», — уточняет Тамара. Я сижу в её уютном номере в Доме творчества писателей, который теперь называется гостиницей. То есть, кроме престарелых писателей здесь любой человек может купить койко-место. «Надо выживать», — утверждает начальство, и по священным для нас аллейкам, где прежде можно было встретить Арсения Тарковского, Беллу Ахмадулину, Бориса Можаева, прогуливаются теперь подвыпившие, но авторитетные мужички.

Тамара Башмакова позвонила мне за два месяца до встречи и назначила день своего выступления в нашем «караван-гараже», как назвал его однажды критик Станислав Лесневский. Гараж этот, а вернее, бывший гараж, — непростой. Он стоит на даче самого Корнея Чуковского, одного из переделкинских мэтров.

— Я буду читать стихи и расскажу о своём трактате.

— А как вас обозначить на афишке? «Поэтесса» или «поэт», как называла себя Ахматова? — спросила я.

— Конечно, «поэт», — последовал лаконичный ответ.

Мне тоже нравится слово «поэт», хотя некоторые дамы ни в коем случае не хотят так называть себя — только «поэтесса». По правилам пола.

Я заглянула к Тамаре Башмаковой накануне. Дверь мне открыл истощённый человечек (сказать «худая женщина» — ничего не сказать) с испуганными глазами и сбитыми в кровь пальцами на ногах, замазанными зелёнкой.

— Я работаю, — поймав мой взгляд, сразу, с порога, объяснила Тамара. — Ношу телеграммы. Иногда — вип-персонам. Правда, телеграммы принимает в основном прислуга. Мне тяжело, сменщик мой вечно болеет, да и жара стоит под сорок, смог дикий. Сами видите. Но жить-то надо!

Я отказалась от гостеприимного чая-кофе, и мы условились о встрече на её вечере через два дня.

Она появилась стремительно, в глазах по-прежнему ужас, но весь её хрупкий облик с замысловато прибранными волосами,

с аметистовыми бусами в несколько рядов на её тонюсенькой шее создавал трогательный, какой-то гоголевский образ. Тамара сразу сказала, что выступает она часто, уже привыкла, и будет читать стихи и короткую прозу.

Декламируя в позе великого Маяковского — со вскидыванием вверх и вбок правой руки, — она преобразилась. Исчезли тревога и какая-то острая настороженность. Перед нами была уверенная, по-своему красивая, раскованная дама неопределённых лет — от сорока до семидесяти. Она подробно рассказала о муже: пил зверски, в одиночку и с друзьями, постоянно избивал, сидел на её шее. Это на такой-то практически невидимой, лебединой шейке сидел здоровенный бездельник?!

— Но очень меня потом, когда изобьёт, жалел. Говорил, что ничего не мог с собой поделать. Десять лет его уже нет, — вздохнула Тамара Башмакова, поэт и телеграммоносец.

— Он говорил, что оттуда, — она показала на наш деревянно-деревенский гаражный потолок, — будет мне помогать материально.

— Помогает? — спросил сидевший рядом писатель Вальшонок.

— Конечно, я ведь работаю, деньги зарабатываю. Раньше я работала и на Трёхгорке, и в банке. Правда, из банка пришлось уйти, я боялась, что муж с дружками ограбят его.

Опять заструились стихи — сначала детские.

Льётся тихий свет луны
Сквозь густые ветви.
В чаще леса у сосны
Ёж лисицу встретил.

И взрослые. В основном, печальные. И любовь в них была грустная, не очень состоявшаяся, но восторженная.

«…Ты явись ко мне, лучистый…»

Или — *«…Нету проблеска добра…»*.

Или о том, как героиня пришла, но он, любимый, её не опознал: *«…Ты не остался со мной…»*.

Или совсем грустно, с обидой: *«…Но не найдёшь у них в святых телах эдельвейса…»*.

Несколько стихотворений она называла православными. Иногда, скромно потупясь, уточняла: «Они, правда, немного и языческие».

Она очень старалась. Что называется, лепила образ. Читала громко, уверенно, рука вновь и вновь взлетала вверх. Резко, отработанно.

— Вы любите, чтобы аплодировали? — спросила я. — Вот у нас не так давно читал стихи знаменитый артист Лев Прыгунов — так он просил, чтобы, когда закончится цикл, ему аплодировали.

Тамара снисходительно улыбнулась, кстати, впервые за вечер — она, по-моему, никогда не улыбается — и произнесла:

— Великий Дебюсси так сказал однажды: «Когда восходит солнце, ему никто не аплодирует».

Ну, что же, нет — так нет.

Она читала долго, пот струился с восторженных лиц гостей не градом, а рекой. Прервать её, поставить на лёгкую паузу я пыталась кротко, интеллигентно, но не тут-то было. Она оказалась сильной, упорной, умеющей постоять за себя и свои выстраданные православно-языческие стихи. Сказывалась привычка к вечной борьбе за трудное существование.

Я попросила рассказать о трактате — она упоминала о нём при первой нашей встрече. Тамара заулыбалась: «О, это отдельный разговор, ведь он тоже с элементами язычества».

Нужно отметить, что послушать стихи Тамары Башмаковой в наш скромный сарайчик, где Корней Иванович Чуковский держал своё авто, набилось довольно много интересного народа. В углу, потупив взор, скромно сидела дама, занимавшаяся, как потом выяснилось, проблемами глобализма и как-то хитро связавшая их с национальным вопросом.

Несколько человек приехало не только послушать Тамару Башмакову, но и почитать свои собственные стихи. Они добирались до Переделкина из Москвы на электричке, в дымовой завесе — в эти дни горели торфяники. И в нашем «караван-гараже» температура была зверская. Замкнутое пространство, много людей, о проветривании и подумать страшно, ибо на улице — дым, Африка! Словом, подвиг совершили приехавшие к нам люди.

Поэт (или поэтесса), издательница рассказывающего об успешных современниках журнала «Ху есть ху», решилась после некоторых наших уговоров почитать свои стихи.

— Они все о любви, — уточнила она. — Я пишу только тогда, когда влюблена.

Красивые серые глаза и высоченная грудь с глубочайшим декольте. Тридцать лет тому назад эта женщина приехала завоёвывать Москву из Луганска. Судя по уверенному облику — получилось. Стихи её оказались довольно профессиональными и какими-то даже умными, чего обычно о поэзии не говорят.

Поскольку в сорокаградусную жару и те, кто жили неподалёку, и особенно те, кто приехал издалека, всё же явились послушать странную, прекрасную до какого-то невероятного предела Тамару Башмакову, я всем дала слово.

Стихи Зиновия Вальшонка — правильные, географически разнообразные, аж до самой Франции, искусные, литературные. Он их может сочинять километрами. Благо, чудесный сын издаёт их в огромных глянцевых количествах. На обложке последней книги —

большой портрет самого Зиновия, обрамлённый венцом из крохотных фотографий Ахматовой, Пастернака, Цветаевой и других немыслимых знаменитостей. «Классик», так назвали мы его, и Зиновий воспринял это ну очень серьёзно. Он рассказал нам также о своём посещении только что открывшейся галереи знаменитого Евгения Евтушенко: «Хозяин галереи-музея тепло принял меня, обрадовался, мы мило побеседовали. Я обратил внимание на одну деталь: на спинку стула был небрежно повешен пиджак, будто поэт только что здесь был и вот-вот вернётся». Словом, музей, весь в дорогих и сверхдорогих картинах, подаренных Евтушенко великими мастерами, произвёл на Вальшонка неизгладимое впечатление.

Знаменитый бард Сергей Крылов с очень немолодым, похожим на мягкую игрушку, лицом, на котором запечатлены были все житейские бури, невероятно точно сказал об увиденном и услышанном. Он нашёл очень проникновенные слова о поэте Тамаре Башмаковой: «чистота, почти невыносимость страданий, детскость» — и много других возвышенностей.

В самом деле, от встречи с этой удивительной женщиной осталось острое ощущение чего-то настоящего, ностальгически правдивого и, главное, — осталось чувство неподдельной любви. Любви ко всем нам, пришедшим, привыкшим иронично воспринимать странных людей, не похожих ни на кого поэтов, неподдельно детских, но занявших свою собственную литературную и человеческую нишу.

Все эти дни, пока Тамара жила в Доме творчества, ко мне подходили его обитатели — страшно серьёзные писатели — и удивлённо спрашивали, зачем я пригласила Тамару Башмакову читать у нас, где, в основном, заседают корифеи? Одна дама с возмущением убеждала меня, что и стихи у Башмаковой никакие, и сама она странная, практически «чокнутая», в общем, неадекватная. И ни с кем-то она не общается. А я порадовалась за Тамару. Ведь обычно писатели здесь ходят небольшими такими стайками. Вместе. Вместе в столовой, вместе на прогулке, в кучке, как все. Один — известный, и рядом — остальные, с отсветом лучей его славы. Глядишь — поможет, поддержит. Полезно.

Но помню я и то, как по улице Серафимовича всегда один, всегда замкнутый, строго по одной и той же тропинке прогуливался утром и вечером невероятно красивый старик — Валентин Петрович Катаев. Вынашивал, вышагивал, вероятно, свой «Святой колодец».

— Знаете, — обратилась ко мне однажды та самая дама из Дома творчества, — сегодня Тамара пожелала мне приятной прогулки!

Я подумала: как же хорошо, что я познакомилась и чуть-чуть прикоснулась к судьбе поэта и маленькой отважной женщины Тамары Башмаковой!

Алла Рахманина

Две солнечные женщины

Ранней весной, случайно (хотя я давно поняла, что ничего случайного не бывает), в Литературную гостиную в Переделкине какие-то чудесные, лёгкие ветры занесли двух поэтов. Деревянный порог нашего «сарайчика», как я его называю, переступили Сэда Вермишева* и Елена Широкова-Тамбовцева. Ощущение солнечное, ни на что не похожее — столько в обеих женщинах света, доброты, внешней приглядности.

Гостей набилось довольно много. Я всегда удивляюсь: на электричках, на автобусах и «просто на джипах», в любую погоду приезжает и молодёжь, и не совсем молодёжь. И переделкинские мэтры — Игорь Золотусский, Игорь Волгин, Юрий Кублановский — заглядывают сюда на огонёк. А точнее — «на чай». Поскольку Корней Чуковский (а именно в его бывшем гараже проходят наши встречи) в шутку, конечно, говаривал: «Учтите, господа, литература делается за чайным столом». И вот, собственно, длинный стол, сушки, пряники. И неторопливая беседа, интервью, пресс-конференция — как хотите, называйте.

В этот день далёкого уже 2010 года нашим угощением были Сэда и Лена. По накалу, взаимопроникновению в какие-то творческие глубины я не видела им равных.

Незабвенная Сильва Капутикян, с которой я дружила многие годы и с которой мы подолгу бродили по аллейкам Дома творчества в Переделкине, сказала мне однажды: «Обратите внимание на Сэду Вермишеву — перспективна, умна, талантлива».

Много лет спустя Валентин Дмитриевич Оскоцкий всякий раз при упоминании о какой-либо предстоящей значительной встрече говорил: «Сэда. Её нужно пригласить. Там, где Сэда, там интересно, интеллигентно. Это очень хорошее имя — проверено!». То есть, уже много лет, ни разу не встретившись, не пересёкшись на наших литературных тропах, я знала, что на этом тревожном свете есть очень достойный человек — поэт, учёный и просто умница Сэда Вермишева.

* Сэды Константиновны Вермишевой не стало 18 февраля 2020 года, во время подготовки этого рассказа к печати.

Она вообще давно могла бы стать литературным и политическим генералом, так много уже ею сделано, вынесено и для России, и для многострадальной Армении. Но…

Будем надеяться,
Верить,
Молиться…
Истина Божья для нас
Возродится,
Крепить не канаты,
А с временем связь,
Восходы, закаты,
Словесную вязь.
И лики святые
Проступят
Сквозь тьму,
И люди вернутся
К Христу своему…

Не встречала я человека, который при такой очаровательной женственности имеет талант мужской. Это касается гражданского нерва стихов Сэды, ибо нет ничего ужаснее, чем когда говорят «женские стихи» или «женская проза». Этот талант её проявляется, прежде всего, в умении видеть перспективу и, что особенно важно и редко, — обратную перспективу.

Само имя «Сэда» — тёплое, долгоиграющее, словно благородное вино, его хочется тянуть как эхо и бесконечно произносить.

Мы успели поговорить и об особом, русском видении Армении, и о так называемой русскоязычной трещине, которая проходит сквозь сердце прекрасной Сэды. О её стихах, написанных почти в потере сознания, и которые как бы выше мольбы. И, конечно, о её неизбывном трагическом мироощущении, о боли и об умении делать боль прошлого «поводырём», а не слепцом. Ещё и ещё о поэзии…

Стихотворения Сэды по лаконизму чувств и огромной жертвенности напоминают библейский пейзаж. Это космические категории её отношения к жизни, которые переплелись в высокой поэзии. Недаром кто-то написал, что к стихам Сэды Вермишевой припадают, как к роднику.

И я соберу
Под высокие своды
Подруг своих лучших
И верных друзей…
О, Господи Боже,
Как много свободы

Под небом прекрасной
Отчизны
Моей!
Как воздуха много!
Простора и счастья!
И радость звенит
На незримой волне…
И тихо уходят
С порога ненастья —
Бескрайнее небо
Со мной
И во мне…

Елена Широкова-Тамбовцева — поэт, публицист, переводчик — давно полюбила Армению и не называет её иначе, как «страной чудес». Недаром она пишет, что благодаря знакомству с этой неповторимой землёй и с её замечательными людьми стала мудрее, терпимее, счастливее.

Опять судьба меня с небес спустила
В Звартноц, горящий маковым пожаром.
Какая-то неведомая сила
Укрыла в ереванском доме старом.

Балкон-утёс навис над переулком,
Как над ущельем горным, где в пещере
Я затаилась, но стучится гулко
Весна в мои незапертые двери.

Поэзия Лены удивительна. Она чутко реагирует и откликается на пласты вековой культуры, которую олицетворяют в Армении старинные храмы, монастыри, скульптуры, шедевры зодчества. И люди.

Иллюзия — в бурлящем Ереване
Быть для друзей и солнца недоступной.
Купаться в одиночества нирване
Здесь сложно, невозможно и преступно.

Твой след, твой взгляд, твой голос обнаружат
На каменной плите, на дне фонтана,
В узоре ласточкиных полукружий
И под зонтом столетнего платана.

В стихах Лены об Армении — живое чувство сопричастности трагедиям этой страны, её боли, её радостям и победам. И тревога за наше общее будущее.

Как повезло Лене! Но как повезло и Армении, что она встретилась с таким человеком, пропустившим через своё сердце её древнюю усталость, печаль, непокорённость. Это всё в стихах Лены — незабываемые песни Комитаса, несдающийся Арцах. Она открыла для всех нас ежегодно отмечающийся в Армении День святых переводчиков Саака Партева и Месропа Маштоца. В её книге «Лики Армении», в разделе «Читая армянских поэтов», слышится перекличка с армянской литературой. Начало всему этому положило знакомство с прекрасной Сэдой, хоть их незабываемая встреча и произошла на московской земле, где уже два десятилетия Сэда — мост, связывающий Армению и Россию.

Елену Тамбовцеву и Сэду Вермишеву объединяет, прежде всего, то, что обе они делают всё и немного больше, чтобы изменить нашу жизнь к лучшему. В каждой — какое-то сконцентрированное чувство долга. «Поэт в России — больше, чем поэт». Это о них. Но и о прекрасной Армении тоже.

Словом, приехавшие, пришедшие и еле дошедшие (есть здесь, в Переделкине, слава Богу, и литературные патриархи) к нам в этот мартовский вечер расходились с наших посиделок слегка задумавшимися и напитанными какой-то новой, удивительной субстанцией двух великих солнечных женщин — Сэды Вермишевой и Елены Широковой-Тамбовцевой. Много стихов, боли, радости. Вперемежку с чаем. Чтобы не было так больно. За время. За нас с вами.

Алла Рахманина

Известный человек

Мой друг Александр, прослышав о бедственном моём положении — нам с котом Фросиком практически уже нечего было есть — нашёл, как ему казалось, совсем простой выход из создавшейся ситуации. Человек огромной эрудиции и острого незаёмного ума, он мгновенно откликался на любую мою просьбу, и его уникальные мозги всегда меня выручали и поддерживали. Делал он это неизменно непринуждённо и будто играючи — изящно, но и вполне результативно.

Впрочем, на сей раз способ нашёлся не очень-то оригинальный.

— Сдай комнату, — позвонил он рано утром, — ту, которая большая, красивая. Другую оставь для себя, на всякий случай. А я нашёл то, что тебе нужно. Известный человек, совсем другой, чем пишут о нём в газетах… Да что там, ты и сама скоро убедишься.

Как обычно, он молниеносно положил трубку. Я не успела возразить: мне, мол, не нужно ни известного, ни пафосного, ни даже гения непризнанного. Не нужно. Мне бы какого-нибудь серенького, потёртого, незаметного человечка. Чтобы консьержки в нашем сплошь беломраморном подъезде не напрягались и не зубоскалили и чтобы продержаться подольше, а там, глядишь, какой-нибудь грант диковинный подоспеет или гонорар из краев подзабытых прилетит. Консьержки-то у нас непростые — сплошь бывшие начальницы, далеко уже не молодые дамы, а одна сиренево-волосая и востроглазая так порой вопьётся, что виноватой почувствуешь себя навсегда. Самая весёлая и почти слегка разбитная обязательно остановит и про какой-нибудь роман пятидесятилетней давности расскажет, да непременно с генералом, а когда забудет предыдущую историю, полковником-красавцем похвастает…

Известный человек позвонил через час, представившись: «Эдуард Лимонов*. Я буду у вас через полчаса». Разговор тотчас оборвался, не начавшись. Вряд ли ему было интересно, а вдруг я занята или по делам надо выйти.

Ровно через тридцать минут в мою квартиру стремительно вошёл худощавый немолодой мужчина с хорошо узнаваемой меньшевистской бородкой.

---

* Эдуарда Вениаминовича Лимонова не стало 17 марта 2020 года, во время подготовки этого рассказа к печати.

— Лимонов, — протянул он руку, не снимая пальто. Я сразу заметила лёгкую, какую-то даже офицерскую выправку товарища. Мой друг Александр, правда, уже значительно позже, подтвердил, что среди многих достоинств известного человека присутствует регулярный спорт.

— А я думала, вы высокий.

— Я высокий, вам показалось.

Мне совсем не показалось. Но кто же будет спорить с таким знаменитым, таким — хоть и бывшим — мечтателем о баррикадах, таким отчаянным полемистом? Очень быстро он заполнил собой всю мою тридцатиметровую комнату с орнаментальным — выше не бывает — потолком и колоритной древней лепниной, как на полотнах европейских и русских живописцев.

Эдуард Вениаминович Лимонов кружил по квартире. На мгновение мне привиделось, будто он втянул в себя весь воздух и вообще всё окружающее пространство. То, что он успел рассмотреть, ему явно понравилось — огромное, во всю стену, окно-эркер, старинная, за давностью лет ставшая антикварной, мебель с бронзовыми львами и замысловатыми вензелями.

Главной же достопримечательностью этой большой квадратной комнаты были книги. Они стояли и лежали повсюду. На полках всевозможной конфигурации, в потрескавшихся книжных шкафах ручной работы, да и просто на полу. Подоконники, каких теперь не увидишь, гранитные с мраморной крошкой, — тоже в книгах и журналах. Книги почти все с дарственными надписями, очень искренними, сердечными, а иногда и невозможно сладкими, чрезмерными в проявлении великих чувствований к хозяину квартиры.

Всё говорило о том, что здесь жил писатель, а я, получается, вдова.

А что же Лимонов? Вспомнилось, как одна моя невообразимо толстая, состоявшая, казалось, из шаров и полушарий, подруга захотела вдруг сдать ему одну из своих четырёх комнат, но потом передумала.

— Слишком он велик для меня, — призналась она позже. — А как бы хорошо смотрелся в этих моих совсем новеньких белоснежных стенах.

Она сдавала тогда свою огромную квартиру исключительно творческим мужчинам с намёком на обязательное будущее супружество. И, сказать откровенно, иногда это каким-то удивительным образом ей удавалось. Только вот цепкий, последовательный и упрямый парень, как называл себя в то время Эдуард, быстро просёк этот тонкий психологический манёвр и вежливо ретировался.

Вряд ли его вдохновляли толстухи. Ведь все жёны его и музы были прекрасны и даже изумительны. Особенно последняя,

актриса, сделавшаяся абсолютно лысой исключительно ради его революционерства. Разве знала она в те их благословенные годы, что никогда, никогда он не будет ни на чьей стороне, а только всегда на своей. Да и мещанство семейной жизни он и вовсе не признавал, если не презирал. Предыдущие его подруги как-то очень быстро изнашивались, тускнели, сгорали рядом с ним, а то и вовсе уходили из жизни по своей недоброй воле, будь то самая первая его харьковская супруга, которая была значительно старше, или одна совсем юная промежуточная барышня, также покончившая с собой. «Она никого не любила, даже меня», — скажет он значительно позже.

А другая, не совсем молодая, не совсем постоянная, но очень мудрая его муза произнесла при расставании: «Я устала от тебя навсегда», — и вернулась в прежнюю, хоть и не столь интеллектуально-сакраментальную семью.

Молодёжь до сих пор зачитывается его удивительно смелой, новаторской и слегка распущенной по меркам семидесятых-восьмидесятых книгой, которую он назвал очень ласково: «Это я — Эдичка». Впрочем, в истории о непростой жизни героя на чужбине меня впечатлило вовсе не его нежное отношение к привлекательным чернокожим юношам («Русский поэт предпочитает больших негров», как озаглавил книгу французский издатель). Нет, всего больше поразило меня описание его американского похода в гости к престарелой даме русско-дворянских кровей и соответствующей наружности. До чего ж горестно было читать о её малосимпатичной старости, древней пожухлости и вообще о старчестве как таковом. Из всего этого невероятно эгоистичного, яростного и горячего спича, при котором присутствовала его молодая, самая вторая, самая любимая жена, я поняла, что она вовсе не разделяет взгляды своего эмигрантского мужа на престарелых дам. Ведь писали же тогда газеты, что он в это самое время охотно лепил там на чужбине образ нового сексуального террориста.

И вот, неотразимого нашего Эдичку, ставшего вскорости королём несанкционированных митингов, уже у себя, в многострадальной России, буквально понесло. А «козлик» — так называлась в те полные обоюдного обожания годы его прекрасная Елена — абсолютно молча выслушала этот его не очень-то умный монолог о старости и её абсолютной и даже вредной стороне жизни. И всё это странным образом наложилось на мои собственные некогда представления о вдовах — эдаких абсолютно гравюрных дамах в замысловатых шляпках и обязательно просительницах.

Вероятно, он был хорош тогда, известный человек Лимонов, эпатажный автор семнадцати романов, молодой интеллектуал, отдалённо смахивавший на юного Троцкого. Недаром

знаменитый Евгений Кропивницкий, глава «Лианозовской группы» поэтов и художников, куда прежде входил Эдуард Вениаминович, как-то пошутил: «Лимонов, Лимонов, вы лучше лимонов, не только лимонов, но и апельсинов, но и мандаринов».

Известный художник Михаил Шемякин, совсем не лианозовец, напротив, утверждал значительно позже, что нет-нет, а несравненный Эдичка в каком-нибудь утомительном смятении обязательно запустит гадость в его огород. «Это Лимон. Фруктом родился, фруктом и умрёт», — так он философски подытожил из своего заморского иноземья. Хотя в трудное для Вениаминыча время даже просил за него президента, хлопотал об освобождении из тюрьмы. Впрочем, почти все времена были для нашего бурного Эдуарда, прямо скажем, непростыми.

Пока я предавалась воспоминаниям и размышляла о Лимонове прошлого, Лимонов настоящего по-прежнему был рядом и всё кружил и кружил по моей старорежимной комнате, словно немолодой, очень уставший цирковой конь по арене.

Он подбегал к причудливому эркеру, цепко вглядывался в утренний ручеёк людей, который втекал в метро, и тут же снова возвращался обратно к двери, то и дело бросая острые взгляды по сторонам. Эдичка метался.

«Здесь я поставлю сундучок, здесь кресло». Голос глухой, слегка подрагивающий. «И кстати, — уточнил он, — меня раз в две недели будет навещать девушка».

Тут мне вдруг очень захотелось узнать, как живёт сейчас, в наши дни, оригинальный неувядающий революционер. И время от времени я задавала ему соответствующие вопросы, кажется, довольно дурацкие. И его прекрасные жёны, подруги и спутницы очень меня интересовали. Или даже не столько сами они, сколько расставания с ними.

— Ну как, — спросила я, вероятно, не совсем деликатно, — можно было уйти от такой молодой, такой оригинально говорящей в телевизоре, такой успешной и утончённой, такой синеглазой, той самой последней, к тому же известной актрисы? Как?

Что-то такое он произносил невразумительное и даже совсем странное: будто оставила его с крошечным ребёнком на руках и отправилась отдыхать на модный до сих пор Гоа — куда же ещё? Возможно, но, скорее всего, не очень-то полюбил страстный борец за народную демократию эти чудесные крошечные ручки-ножки, пелёнки-распашонки. А может быть, просто устал талантливый неуёмный романтик, призывавший молодёжь ненавидеть оба лагеря и спокойно рассказывавший, как везли его в автозаках, зажав голову спецназовскими ботинками.

Завистники не уставали повторять: он там отмахнулся от известности, да и здесь удалось, чего уж… Знаменитый литературовед (он же поэт, прозаик и даже профессор), почти ежедневно и одновременно вещающий на многочисленных радиостанциях и печатающийся так часто и так везде, утверждал: «Лимонов — человек отважный, падающий в бездну на наших глазах и уничтожающий себя. И чем глубже он будет падать, тем лучше будет писать». И эти его слова правдивы. Эдуард Вениаминович — личность с большим моментом самопожертвования, честно служащий своему ремеслу. Тот же литературовед говорил потом: «Люди вряд ли пойдут по его пути. Человек он неприятный, а приятные редко бывают хорошими».

Меня интересовали не только его удивительные жёны, которые были сплошь харизма — или её полное отсутствие. Меня очень интересовал *писатель* Эдуард Лимонов. Словно почувствовав это, он внезапно, рывком протянул мне откуда-то взявшуюся книгу: «Это самая безумная русская книга», — произнёс он и, быстро-быстро склонившись к окну, подписал её почти теми же словами, добавив лишь обычное в таких надписях — «дружески». Успев, пока он ходил по всей квартире, полистать её, я поняла, что мне предстоит вникнуть в двести двадцать страниц гносеологического учения о смысле и предназначении человеческой жизни. Оглавление также было очень оригинальным. Оно состояло из шестнадцати актов, словно это театральный роман, а вовсе не серьёзная проза. Назывались они также диковинно: «Теория преодоления космического одиночества», «Преследование биоробота», «Соавтор создания человека». Словом, решила я, узнаю позже, какие амбициозные задачи ставит перед собой *писатель* Эдуард Лимонов.

Внезапно я представила: здесь в углу будет сундучок, о котором он предупредил в самом начале нашего разговора, тут у застеклённого шкафа, где находилось любимое кресло любимого мужа, будет стоять его собственное, а дальше ближе к самодельному розовому торшеру — стеллаж с его лимоновскими книгами. Книгами о том, что человечество найдёт, наконец, настоящего врага и разберётся с ним. Или даже постулат о собственной атеистической фантастике с её чёткими формулами. Читая его книги, я всегда хотела понять: в чём всё-таки тайна сильного человека нашего времени? Превратившего, как утверждает его давняя знакомая, политику в литературу, игру — в жизнь, а жизнь — в игру.

Итак…

Кресло с деревянными подлокотниками скорее всего будет вывезено, а, возможно, и выброшено вовсе. Это меня неожиданно как-то обожгло. Ведь именно здесь фактически целиком была задумана главная повесть хозяина квартиры о маленьком

страстном человеке Иване Смирнове, пытающемся отождествить себя со своим прошлым и настоящим. Именно сюда я прибегала из кухни, когда меня вдруг осеняло, и криком «Гениальная идея!» оглашала весь дом. А мой прекрасный муж в ужасе вскакивал и каждый раз говорил одно и тоже: «Всё, что угодно, только не это!». Зато потом, по прошествии недели-двух притворно удивлялся: «Как ты додумалась? Своими женскими-то мозгами?». Вспомнился и кот Фросик, который готов был часами сидеть на хозяйских коленях в этом самом кресле и спать с открытыми глазами (пришлось назвать его Фросиком, так как мы решили почему-то, что этот найденный нами крошечный спутанный рыжий комок — наша будущая кошка Фрося).

Розовый кустарный торшер, больше напоминающий искусственное дерево, а вовсе не осветительный прибор, скорее всего также подвергнется изгнанию. Его принёс однажды странный человек, называвший себя поэтом и продававший свои тоненькие самодельные книжицы в подземных переходах: «Купите книжку, помогите бедному писателю! На пропитание прошу, не на баловство!». Удивительно, но часто и подавали, особенно, когда он умудрялся втиснуть свой очередной опус в открытое окошко какого-нибудь стоящего поблизости лакированного джипа. Это была целая продуманная мистерия. Он скороспешно прокрикивал безумное содержание своего книжного варева и, не давая опомниться владельцу железного коня, убегал с этими трудно, но честно заработанными сотенными в Дом всех литераторов. Там он умудрялся хорошенько набраться и, обращаясь к подвыпившим собратьям по перу, громко причитал: «Друзья, мне душно в этой синагоге!».

Меж тем, сумму за будущее проживание в родных моих стенах знаменитый революционер и писатель Лимонов назвал грандиозную — для меня, разумеется. Я тотчас прикинула, как накуплю Фросику дорогого одноцветного корма, который улучшает здоровье и породу, и с надоевшей гречки перейду на невообразимые иностранные деликатесы, буду ходить во всякие буржуйские «Азбуки вкуса», где дают впридачу красивые пакеты и удобные сумки…

Эдуард Вениаминович всегда очень близко подходил к собеседнику, то есть, ко мне. Я давно заметила, как многие люди при разговоре обязательно приближаются почти вплотную и при этом непременно подтверждают сказанное лёгким — а порой и не очень лёгким — касанием пальцев. Вероятно, так беседа кажется убедительнее. И делают они это независимо от пола и вероисповедания. Один мой приятель, можно сказать, даже друг, как-то раз так раззадорился, наполемизировался, что всё время подталкивал меня куда-то в угол, больно надавливая — для

убедительности речи — своими костяшками на нежный мой локтевой сустав.

Как правило, завзятых арендодателей интересует: почему квартиросъёмщик съезжает с предыдущего жилья? И чаще всего им отвечают полуправду или совсем неправду. Например: приезжают внезапно дети, родственники или что-то в этом духе. Задать столь прямой вопрос Эдуарду я посчитала неделикатным. Впрочем, в своём русском социально-реалистическом романе «В Сырах» Лимонов и сам рассказал о нескольких послетюремных годах, проведённых где-то в промзоне Винзавода на съёмной квартире. Но именно там сильный человек нашей эпохи поведал о вреде уныния и о расползающемся по миру вреде безволия. Если прежде он писал: «Это я — Эдичка», то теперь утверждал: «Фауст — это я».

Как и Фауст, он поверил дьяволу на какое-то время, захотел вызвать духа тьмы и даже попытаться взять его в союзники. Этот его такой мускулистый текст — опять исключительно против старческой немощи. Правда, здесь уже речь идёт о квёлых двадцатилетних компьютерных мальчиках, которых она, эта пресловутая немощь, одолевает в наше время. Ведь сам он смотрит только вперёд, он сам себе партия, политика и идеология, как утверждают приверженцы его цепкой революционной конструкции.

Эдуард Вениаминович — человек огромного интеллекта и прекрасно понимает, что полная реализация идеи о хорошей жизни сделает счастливыми только людей недалёких и ограниченных. Есть такой, скажем, человек-планктон: планктон офисный, планктон спортивный, планктон окололитературный, планктон околонаучный (не путать с настоящими планктонами, которыми питаются чистоплотные мидии!). Незаурядный мыслитель Лимонов решил, похоже, изменить сам фундамент современной цивилизации, пересмотрев все её реалии. Мне вспоминается одна очень известная в широком кругу домохозяек писательница так называемой лёгкой неутомительной литературы. Всех, кто хоть как-то, хоть чуть-чуть не согласен был с эдичкиными художественными принципами, она называла моськами. Просто — моськами. Не любишь Эдичку — моська. И больше ты никто.

Передо мной стоял человек уникальной нетолерантности, который уже всё для себя решил и ни в чём не сомневался. Конечно, это дар признанного талантливого лидера — мгновенно принимать решение. Я бесконечно прокручивала в голове картины: здесь будет стоять его сундучок, чуть дальше шкаф с книгами, тут диванчик с девушкой раз в две недели, а там, в длинной прихожей, ящики с его огромным народно-демократическим архивом.

И кстати, насчёт девушки. Как-то редковаты её будущие появления в моих метрах для такого неотразимого гиганта русской мысли. Хоть и довольно сильно траченного. Вот, мой сосед

за стеной — академик совершенно фантастической какой-то фундаментально-трансляционной медицины (можно подумать, что у нас с обычной всё в порядке), и ему — под девяносто. Однажды похвалила его за осанку нездешнюю, быстрый шаг, а главное, куртуазность потрясающую ко всем без разбора нашим подъездным дамам от десяти и выше. И спросила невинно, как удаётся так породисто держаться, так выглядеть. Ответ чудесного старца на лестничной площадке превзошёл все мыслимые-немыслимые ожидания:

— Девушка три раза в месяц и очень мало еды!

Стало быть, Лимоныч наш несравненный отстаёт сильно от моего соседского дедушки. Да и никакой такой особенной знаменитой лимоновской энергии, несмотря на выправку, которая была видна в самом начале его прихода, я не заметила. Тщедушный, не очень выспавшийся, не очень как-то отточенный, каким я его представляла по книгам и острым высказываниям, и никакого даже лёгкого парфюма, что, кстати, свидетельствует о хорошем вкусе. Глубоко уставший старик, хотя и вполне сохранившийся.

Что касается его недовольства инфантильностью молодых людей, здесь ещё можно согласиться. Но его — юношеские — монологи против женской безутешной старости едва ли справедливы. И не только несправедливы, но и недальновидны. Не примерял он в молодости её на себя, эту самую старость, не до того было. Такая яркая пронзительная судьба! А мог бы попросить своего любимого Фауста — или Мефистофеля? — вернуть свою феерическую молодость, но не догадался, вероятно. Удивительная, скоростная жизнь! Авантюрная, бунтарская, игровая…

Сильно немолодой Эдичка уже прощался, стремительно уходил в свои такие безумные, такие опасные и, вместе с тем, очень притягательные миры, взяв с меня слово обязательно в ближайшее время позвонить. В самом начале нашей короткой и, так сказать, деловой встречи он сообщил, что его ждёт автомобиль с водителем.

На следующий день я сообщила своему верному отзывчивому другу Александру, что, увы, не готова пока запустить в свой дом такой невероятно интересный, интеллектуальный, знаменитый человеческий багаж. Совершенно не готова. Хотя очень хотелось всё то время, пока Эдичка кружил здесь, покормить его чем-нибудь вкусным, чего у меня и в помине давно не было, сказать много хороших утешительных слов и даже погладить по худой сероватой щеке.

А вот за старух тутошних и американских-русских стало не так обидно. Ведь приходил-то сам стариком, хоть и таким значительным и даже презнаменитым. И грозно презиравшим

старение как таковое. Теперь точно понятно — по молодости бурной. У меня тогда даже сердце защемило, так не хотелось расставаться. Впрочем, с самого момента его абсолютно волшебного появления я как-то подсознательно что ли, каким-то шестым чувством осознала — этого человека в моих родных стенах никогда больше не окажется. Ни с какого боку, как говорится, он в них не вписывался.

Хотя… Вдруг я ошибаюсь, и будет у меня благодатная, благополучная, без страха за завтрашний день жизнь? Моя и Фросикова.

Я опять представила свою пустую комнату, в которую ещё не въехали его драгоценные мысли, обёрнутые в красивые модные книги. И важный для него сундучок (кованый? металлический? аккуратненький?). И кресло, удобное, какое-нибудь почти древнерусское. И великое множество различных важных для него и подаренных единомышленниками и страстными подругами предметов интерьера. А дорогие моему сердцу куда денутся? Например, полупустые всевозможных форм флаконы от духов, подаренных обожаемым мужем, до сих пор радуют глаз, и вряд ли наш крутой бунтарь и очаровательный немолодой авантюрист донесёт их до ближайшей свалки — скорее всего выбросит прямо по дороге эту мою распрекрасную ароматную прошлую жизнь.

Такой решительный, такой скоростной Эдичка ни с чем не будет церемониться — с его-то непримиримостью ко всему, что может помешать даже косвенно стратегически главной линии его неповторимо-знаменитой жизни. С его повышенной пропускной способностью новых мыслей, идей и прекрасных женщин!

Эдуард Вениаминович наш не сдаётся. Не сдаётся до сегодняшнего дня. Никакой видимой-невидимой саморастраты. Никаких гениальных случайностей. Одни, вероятно, недруги-завистники утверждают: «Совсем наш Лимонов слился с властью и даже полюбил её». Другие радуются, говорят, что хочет знаменитый революционный гигант вернуться в современное политическое пространство.

Не так давно, встретив на вечере, где презентовалась его очередная книга, своих постаревших, но обожавших его по-прежнему единомышленников, прокричал им издали: «Привет, привидения!». Правда, было это не где-нибудь, а в самом что ни на есть роскошном городе Париже, который он соизволил посетить после двадцати пяти лет добровольного изгнания.

Что же получается? Значит, Эдичка и не старичок вовсе в свои семьдесят семь, если друзья молодости, те самые «привидения», до сих пор говорят: «Лимонов — нержавеющая жесть и только притворяется “дедом”»?

Да и в Париж он прилетел, чтобы промаршировать по его чистым прошампуненным улицам вместе с яростными революционными «жёлтыми жилетами», желающими лучшей жизни своему народу, а заодно и всему человечеству. И это несмотря на полицейские резиновые пули, страшенные водомёты и даже гранаты с газом. Беспокойному нашему революционеру само это явление жёлтожилетное приносит невероятное удовольствие. Вот она — настоящая, привычная и почти молодая жизнь. Расцвет, так сказать, пусть и старости. Какая в ней воля и энергия! Получается, Лимоныч наш прекрасный больше, чем политик или крупный писатель. Он — самый романтичный и романтический герой нашего времени, личность абсолютно несравненная и несравнимая! И в который раз уловил опять тот самый неотразимый ветер истории. Старость — это когда радость жизни уходит, а у него она опять всё приходит и приходит. И, вот, вновь пришла. А вдруг на сей раз навсегда?…

Всё великое лучше видится на расстоянии, поэтому нисколько я не жалею, что великий неуёмный известный человек Эдуард Лимонов так мне и не позвонил, а я — ему. Масштабность гения лучше мерить его шедеврами, сообщениями в новостях, не слишком частыми встречами — издалека. Иначе, вблизи, опалит негасимое пламя такого таланта, удушит его едковатый дым. Тогда и небольшая моя квартира потребует серьёзного обновления, если не ремонта.

Нежный Александр, который бросал в корзину плохие книги, когда вёл литературные телевизионные передачи под названием «Графоман», ещё долго названивал мне, уговаривая впустить Эдичку. А потом взял и неожиданно умер. Хотя сам с удовольствием и даже радостью брался лечить нас, своих близких людей, от любой хвори.

Придётся нам с Фросиком продолжать наслаждаться полезной гречневой крупой. Впрочем, если её не переварить, то рассыпчатая она вполне вкусная!

Томико Инуи

Семь журавликов*

Перевод с японского: Дзётаро Ота
Иллюстрации: Соуя Накагава

Отправились как-то раз в путешествие семь листков оригами**. И с ними вместе — японская кукла-невеста и неваляшка-дарума с выпуклыми глазами.

Долгий путь предстоял маленьким оригами, пешком не дойти, а вокруг — море. Подумали они и решили: по воздуху быстрее всего! И вот, собрались, приехали в аэропорт и заняли место в красивом белом самолёте.

Пересекли они океан и приземлились на Аляске, в городе Анкоридж. В аэропорту, в витрине магазина сидел мальчик-кукла в тюленьей шубе и задумчиво смотрел на прохожих своими круглыми чёрными глазами. Ему было одиноко, и он надеялся найти друзей.

— Привет! — могли бы поздороваться с ним наши японские странники. Но как им было увидеть мальчика в тюленьей шубе? Ведь оригами и куклы не летают, конечно, сами на самолётах и не ходят по магазинам! Все они лежали в чемодане Саюри, японской студентки.

Тем временем самолёт подготовили к следующему перелёту, и он взял курс на Север. Мимо зари на горизонте, над морем со льдами, через леса и озёра Дании… пока не появились в иллюминаторе шпили старинного города Праги, в Чехословакии.

На ленте конвейера чемодан Саюри доставили в зал прибытия, где работник таможни внимательно осмотрел его и поставил на нём штамп.

Вдруг Саюри услышала, как к ней обратились по-японски.

— Вы из Токио?

— Да.

---

* *Инуи, Томико* Сити-май-но Оригами-то… Токио, 1965. С. 100–139. Рассказ был впервые переведён на русский язык Ясуко Танакой и отправлен Корнею Чуковскому. Текст этого перевода, к сожалению, не обнаружен. Новый полный перевод и оригинальные иллюстрации публикуются с разрешения наследников автора и художника. — *Здесь и далее прим. ред.*

** В Японии «оригами» — это и листок бумаги для складывания фигурок, и сами такие фигурки.

— Я был в Японии. Сейчас возвращаюсь в Венгрию, на родину. Мне нужна ваша помощь…

— Какая?

— Хочу, чтобы моя дочка Мария научилась делать журавликов-оригами. Я сам учился когда-то, да всё позабыл. А недавно услышал, что тысяча сложенных журавликов приносят добро и мир.

Саюри открыла чемодан. Свежий летний ветер, вырвавшись из чемодана, подхватил два листка оригами, вишнёвый и жёлтый, и они оказались прямо в руках студентки. Та сразу начала объяснять.

— Во-первых, складывайте тут, потом так…

Жёлтая узорная бумага с цветочками энотеры словно сама собой преображалась под ловкими пальцами Саюри, а отец Марии, едва поспевая, неуклюже сминал вишнёвый листок с лепестками сакуры.

— Итак, открываем крылья, теперь подуем… и всё!

— Ага, вспомнил, так, и так, да?

Вот, готов жёлтый журавлик, а за ним — вишнёвый. И почти сразу с потолка аэропорта прогремел голос: «Внимание! Пассажиры, отбывающие в Венгрию! Проходите на посадку!».

Саюри протянула мужчине жёлтого журавлика и поклонилась.

— Пожалуйста! Вашей Марии.

— Спасибо! Непременно буду учить её искусству оригами!

Он спрятал обоих журавликов в шляпу и поспешил на свой рейс.

Саюри приехала в гостиницу на такси. В чемодане у неё оставались пять листков оригами, кукла и неваляшка. Их всех разместили в номере на четвёртом этаже. Чемодан Саюри поставили в шкаф.

— Наши друзья журавликами улетели, вишнёвый и жёлтый… как скучно! — ворчал красный листок в темноте.

— Я тоже улетел бы скорее куда-нибудь! — вторил ему чёрный листок.

Однако долго жаловаться им не пришлось.

На следующий день эти листки оригами, красный и чёрный, вместе с куклой-невестой привезли в необычное место.

— Где это мы? Неужто в школе? — спросила кукла.

В самом деле, это была школа. Но гостей встречал один лишь учитель.

— Добро пожаловать! Это школа игрушек. Правда, они тут не учатся. Наоборот, мои ученики придумывают здесь новые игрушки. Самые лучшие из них производят потом на фабриках, чтобы дети по всей стране могли в них играть.

Среди игрушек, придуманных учениками, был большой крокодил, который умел плавать по воде. Был и деревянный автомобиль со смешными пассажирами, которые тряслись и звякали.

— Вот вам японская кукла! Пожалуйста! — Саюри почтительно протянула учителю невесту.

— Замечательно! Видимо, она старинная? — с интересом спросил учитель.

— Да, но раньше японские девочки сами делали таких кукол, а теперь это уже редкость.

Учитель подвёл Саюри к витрине.

— Посмотрите. Старинные чешские куклы и другие игрушки! Мы с учениками очень их бережём. Когда придумываем новые, обязательно в них переносим душу этих старинных игрушек.

На полках в витрине было множество колокольчиков, барабанов, деревянных коньков и других забавных вещиц.

— Добро пожаловать, японская невеста! — воскликнул длинный конёк с четырьмя колёсами, чёрной гривой и красным седлом. Он обернулся к чешской кукле-

невесте, стоявшей рядом. — Давайте проведём наших гостей в парк за домом!

Чешская кукла была в кружевной вуали и красном клетчатом платье и держала за руку жениха в красной же кожаной жилетке. Смущённо улыбаясь, она ответила коньку:

— Пожалуйста! Проводите их погулять! В парке сейчас цветёт душистая сирень. Только почему японская невеста одна? Где её жених?

«Не знаю. Почему?» Невеста из Японии промолчала, но добрый конёк зазвенел колокольчиками и повёл её в парк за домом.

Саюри между тем зашла в соседнее здание. Там собрались дети, от ребят детского сада до второклассников, и все они рисовали. Саюри достала красный листок оригами и стала его складывать.

— Что ты делаешь? — спросили дети.

— Это японский журавлик. Сложишь тысячу журавликов — и твоё желание сбудется!

— Ого! Тысячу! — с удивлением воскликнули ребята.

Одна девочка подошла к Саюри.

— Очень красиво! — сказала она японской студентке, и та подарила ей красного журавлика. — А вдруг… сложишь тысячу журавликов — а желание всё равно не сбудется?

Саюри взялась было ей ответить, но тут её перебил мальчик.

— У вас в стране есть море?

Видимо, он долго уже хотел её спросить.

— Да, — сказала Саюри. — У нас кругом море…

— Неужели? — изумились дети. Ведь в Чехословакии везде речки, а моря совсем нет!

Саюри взяла чёрный листок и стала складывать кита.

— Море — огромное, безграничное. Видишь только воду, солёную. Там плавают огромные киты.

Дети слушали внимательно. Тут вошёл их учитель, повесил на доске большой лист бумаги, достал широкую кисть и начал синей краской рисовать огромные волны: «Море такое синее!».

— Хочу рисовать!

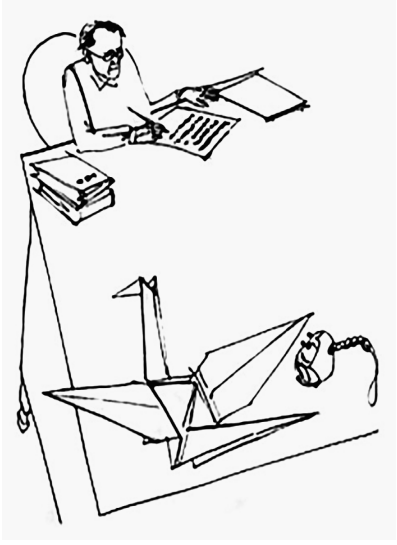
— Я тоже!

К доске подбежали несколько мальчиков и, схватив кисти, стали тоже рисовать волны. Остальные ребята скакали вокруг и пели: «Море огромное, безграничное! Видишь только воду, солёную! Там плавают огромные киты!».

Саюри пела вместе с детьми. Она попробовала наклеить бумажного кита на доску, а кит — чудеса! — мгновенно вырос и скрылся в нарисованных волнах.

Дети запели ещё громче. Топчась, прыгая, они плясали как индейцы. А чёрный кит, фыркая и пуская фонтаны, плавал в нарисованном океане.

В соседней комнате сидела в одиночестве девочка Вера, получившая красного журавлика. Не обращая никакого внимания на шум, она старательно раскладывала оригами, так и эдак, пытаясь понять, как оно устроено. Девочка хотела ещё много вопросов задать гостье из Японии, но как было пробиться сквозь мальчишек, распевавших свою песню про море!



Теперь у Саюри оставалось три листка оригами и неваляшка-дарума с выпуклыми глазами. Их путешествие пока не закончилось. Следующей остановкой был город Москва — столица огромной страны, Советского Союза.

В Москве Саюри пришла в гости к одному писателю. Он жил в квартире, был старый и носил очки.

— Я приехала из Японии, чтобы вас навестить, Самуил Яковлевич Маршак-сан! Слышала, что вам нездоровится.

— Благодарю, девушка, но я здоров! — весело ответил писатель. — Часто получаю от японских детей письма и очень люблю их читать.

Но Саюри показалось, что у писателя были слабые глаза и ему трудно было читать и писать.

Вдруг неваляшка запрыгала у неё в сумочке: «Саюри, Саюри, меня не забудь! Я дам ему свои зоркие глазки!». Саюри вытащила неваляшку и положила писателю на ладонь.

— Это дарума, японская неваляшка, Маршак-сан. Она говорит, что хочет вам подарить глаза!

На личике маленькой неваляшки начали выпрыгивать глазки, словно у улитки. Рассматривая её, старый писатель расхохотался от всей души.

— Ох, смешные глазки! Спасибо тебе огромное, маленькая неваляшка!

Саюри порылась ещё в сумочке в поисках оригами. Ей показалось, что одной неваляшки мало для того, чтобы слабые глаза писателя окрепли. Достав нежно-зелёный листок, она сложила журавлика. Он вспорхнул и приземлился на столе, рядом с неваляшкой.

— Журавлик, журавлик, прошу — вылечи его глаза!

Так осталось у Саюри только два листка оригами, и она решила поехать в лес под Москвой, взяв с собой небесно-голубой листок.

Было раннее лето, и под деревьями раскачивались на ветру тысячи пушистых одуванчиков. Среди смолистых сосен и елей на солнечной поляне стоял домик, в котором жил весёлый старый волшебник. Он как раз отпраздновал свой восемьдесят четвёртый день рождения и теперь, надев головной убор с перьями — индейский подарок, как он всем говорил, — играл с тысячью детей. Саюри оказалась у него тысяча первой гостьей.

— Покажи что-нибудь! Нарисуй! Спой! А то я съем тебя! — задорно крикнул ей волшебник.

Другие дети, чтобы их не съели, уже вовсю рисовали шишками узоры на земле, ходили на руках, играли на губных гармошках.

Саюри замешкалась поначалу, но потом вспомнила о небесно-голубом листке оригами! Она достала его и невозмутимо начала складывать.

— Это японский журавлик. У нас все дети могут такого сложить.

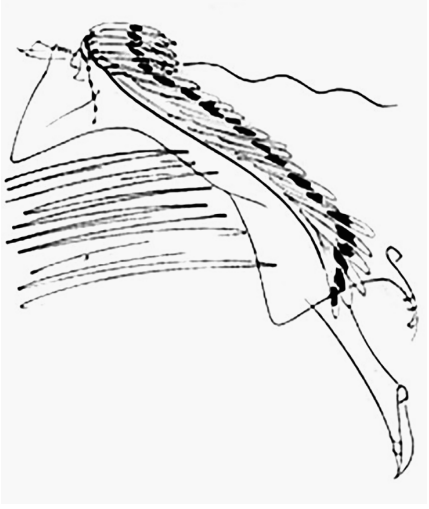
— Красиво! Хорошо! — воскликнул волшебник. — Ребята, посмотрите на это чудо! Вон что японцы умеют!

Дети толпой окружили волшебника и Саюри.

В этот момент в лесу появилась красивая женщина. Словно фея из французской сказки, она достала из сумочки золотой листок и, сверкая глазами, сказала: «А мы складываем так!». И в её тонких, ловких пальцах затрепетал журавлик — из такого же квадратного листка, но совсем другой. Тянешь за хвостик, и он как будто летит, взмахивая крыльями.

— Видишь, этот совсем живой, — сказали несколько детей. А старый волшебник решительно возразил:

— Нет! Ничего нет лучше и красивее этого японского журавлика!



Он повернулся, тряхнув своим головным убором с индейскими перьями, высоко поднял журавлика на ладони и исчез в лесу. Тысяча ошеломлённых детей так и замерли на месте. И продолжали раскачиваться на ветру тысячи пушистых одуванчиков.

Взглянув наверх, Саюри увидела в небе, над головами детей, волшебника, похожего на белое облако. Индейские перья развевались у него за спиной, играя лучами солнца…

Остался из всех семи оригами только один листок — белый, блестящий, покрытый серебристым порошком. На обратном пути в Японию, уже на пароходе, Саюри сложила из этого листка телескоп.

— Куда же все пропали? — не переставал бормотать листок, то и дело вздыхая. Он, бедняжка, не мог видеть события на расстоянии, потому что сам стал телескопом, в который смотрели другие.

— Не грусти, белый, я тебе расскажу, что случилось… — посреди синего моря, на палубе парохода, на скамейке, утешала Саюри последнее оригами.

Она посмотрела в телескоп за океан и увидела, как верхом на чёрном ките катались чешские дети, которые раньше никогда не видели моря. Все теперь загорели и были похожи на матросов пиратского корабля.

Девочка Вера сидела одна на пляже и складывала журавлика.

— Мама мне говорила о детях в Хиросиме, которые складывают журавликов, желая выздоровления от неизлечимой болезни. А японская гостья нам рассказала, что тысяча сложенных журавликов осуществляют желание. Это правда? Пусть все складывают журавликов, не только я одна…

Возле неё на песке тихо сидел красный журавлик. Но уже не один — его окружали больше полусотни таких же журавликов-оригами.

Саюри поискала в телескоп московскую квартиру, где была в гостях. В квартире было пусто. Только на огромном столе плакала неваляшка-дарума. Она хотела подарить старому писателю свои глазки, а его недавно забрали в больницу.

— Он продолжал писать здесь, в комнате, до последнего дня. Говорил мне ласково: «Милая Дарума-сан, благодаря тебе сейчас я вижу лучше». И смеялся как ребёнок…

Саюри очень огорчилась, услышав о том, что Маршак заболел, и долго молчала.

— Держись, Дарума-сан! Помогай ему! — думала она.

— А что теперь делают вишнёвый и жёлтый оригами, наши друзья? — робко спросил белый листок-телескоп.

— Сейчас, — Саюри вытянула телескоп и поискала Венгрию. — Вот! Вижу дом Марии. Как здорово!

Мария отмечала свой седьмой день рождения. Тысяча разноцветных журавликов, связанных нитками, висели у неё в комнате! На столе были вишни, мороженое, медовые печенья, а за столом сидели Мария и её друзья. Они веселились и радостно смеялись.

— Японские журавлики осуществили наше желание! Пусть долго длятся мирные дни и годы для Марии, для вас, для всех детей… — говорили её родители. Красный и жёлтый журавлики со своими венгерскими друзьями мирно парили под потолком, покачивая крыльями.

— Как поживает наша кукла-невеста?

Саюри обратила телескоп в сторону Праги. В городе вечерело. На большой площади перед башней собрались игрушки. В старой ратуше справляли свадьбу! Звонили колокола, взлетали

белые голуби. Площадь была забита игрушками, которым не терпелось увидеть невесту.

Дверь ратуши распахнулась, и появилась торжественная процессия. Невестой была японская кукла, а её женихом — надёжный деревянный конёк. Пробило семь часов. На балкончике башни появились двенадцать кукол и начали петь на фоне вечернего неба: «Поздравляем, новобрачные! Долгого счастья…».

— А где сейчас небесно-голубой листок? Нужно его поискать!

Однако Саюри задремала на скамейке на палубе парохода. Когда она проснулась, солнце уже почти скрылось за морем. За кормой на волнах кружились белые водовороты. Саюри смотрела вслед заходящему солнцу.

Вдруг она почувствовала лёгкое касание, словно от перьев. Но ощущение сразу пропало, улетело в вечернюю зарю. И исчез её телескоп — белый листок оригами! «Должно быть, это старый волшебник унёс телескоп. Проказник! Захотел его взять себе и украл!»

Сколько времени нужно волшебнику, чтобы вернуться в лес под Москвой? Даже с его чудесной силой, наверняка, не меньше ночи? А завтра в лесу снова соберётся тысяча детей…

— Давай, покажи нам телескоп! — попросят дети.

— Нет! — решительно скажет наш старик. — Мой телескоп! Смотреть в него разрешается только мне!

Но, в конце концов, волшебник всё же даст детям телескоп, ведь он в самом деле любит детей.

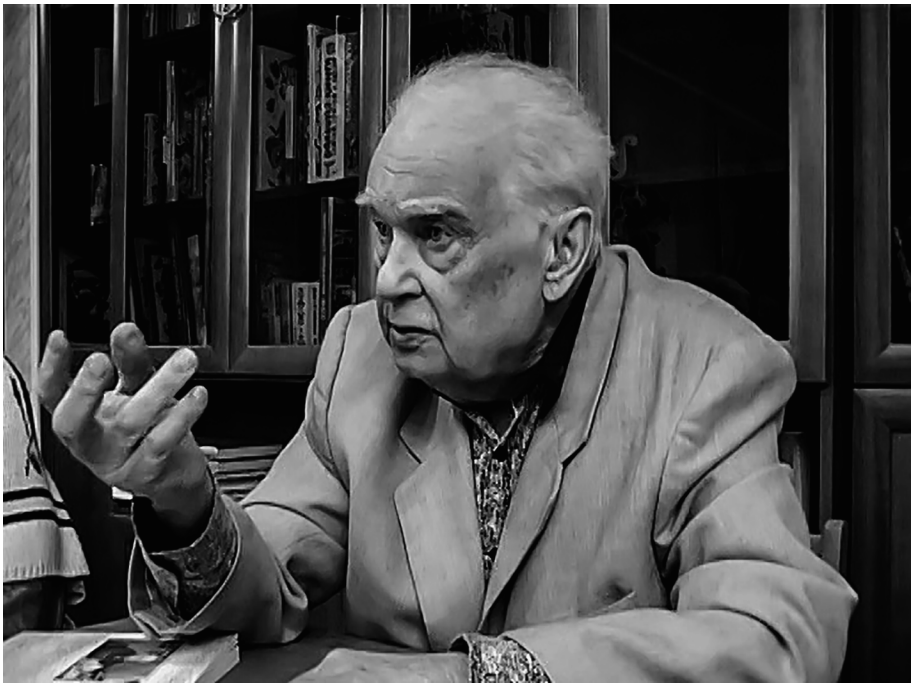
— Пусть его волшебная сила позволит детям увидеть, как проходило наше путешествие, что стало с семью оригами, с куклой и неваляшкой!

В лучах закатного солнца Саюри долго махала рукой весёлому волшебнику.

Ю.П. Ерёмин. Лукино. Пруд. Негатив, 1920-е гг.
Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим».

10 мая 2008 года

«Я жизнь свою помню с огня и печали...»
Вечер Олега Шестинского*



Уже много лет в Литературную гостиную Переделкина приходит множество самых разных людей: соседей и гостей издалека, увлечённых искусством и облечённых властью, а также тех, кто волей обстоятельств находится на грани между одним и другим. Бессменная ведущая встреч-вечеров — Алла Рахманина, хорошо известная в кругах профессиональных литераторов. Она и сама знает всё и обо всех, со всеми умеет легко находить общий язык. Благодаря ей встречи соратников проходят регулярно, а огонь живой заинтересованности друг в друге, в новых работах, в воспоминаниях о работах былых — не угасает.

Однажды Литературную гостиную посетил видный советский и российский писатель (и сам житель Переделкина) Олег Николаевич Шестинский — поэт, прозаик, публицист и переводчик. Среди его книг: «Друзья навеки» (1955), «Звёзды над

* Текст подготовлен Анной Бобровской-Лениной.

крышей» (1964), «Будь садовником Земли» (1975), «Блокадные новеллы» (1983), «Новеллы о любви» (1987), «Жизнь в 900 дней» (1995), «Тайна предназначения» (2005), «Ангелы гнездятся на земле» (2009) и многие другие.

Олег Шестинский родился в 1929 году, и начало его жизненного пути пересеклось с тяжёлым блокадным временем — с испытаниями, повлиявшими на всех, кто прошёл через Ленинград 1941–43 годов. Для Олега Николаевича тема эта стала впоследствии сквозной. Но есть в творчестве Шестинского и лирика, любовная и пейзажная. Неизменно ценно для него слово о женщине, слово о красоте мира, слово о человеке и месте его на земле.

Известен Олег Николаевич и тем, что с конца шестидесятых годов он занимал руководящие должности в Ленинградской писательской организации, а затем и в Секретариате Союза писателей СССР. Непростая эпоха многих заставляла принимать столь же непростые решения: как творить, как работать, как дружить и любить, как жить. Художник и власть — это вечное противостояние.

Олег Шестинский видел боль и ужас войны, силу и крах советской империи, хаос девяностых… Дожив до 2009 года, он успел вступить и в новую эру. Весь этот опыт, все откровения таких разных лет остались на страницах его книг — и в записях бесед и выступлений.

***

Олег Николаевич, вы мальчиком прошли всю блокаду. Сейчас, десятки лет спустя, что вы можете рассказать нам?

Вчера был праздник Победы, и память о ней свята, тем более для меня. Мои последние стихотворения, одно из последних, — о моих блокадниках. Их почти не осталось — умерли все. Я последний из моих товарищей.

Нас горстка лишь и осталась, кто все девятьсот дней
В голоде и пожарах девятьсот одолел смертей.
Понимаете, только горстка на всю большую страну
Познавших не познанную никаким народом войну. […]

Вере учили нас бабушки, Родине — жизнь сама;
И чудо, что мы в преисподней набрались на всю жизнь ума.
Что ж видеть хочу, современники? Не праздник, не торжество,
А просто, чтоб мудро помнили, что нас лишь горстка всего.

Переделкино,
январь 2008 года

Блокада — это самая главная составляющая моей жизни. Потому что я тогда рос, формировался и видел всю трагедию не опосредованно, а своими глазами, через свою судьбу. Эта трагедия вошла в мои книги стихов, в мою прозу — там нет ничего придуманного, всё было на самом деле. Все человеческие ценности я проверяю тем временем блокады, без которого нет меня ни как личности, ни как литератора. Это неописуемая трагедия. Неописуемая.

Хлеб *(из книги «Блокадные новеллы»)*

Декабрьский ветер леденил город. Чернели от голода сверстники. Мы сидели по домам и встречались друг с другом редко.

В шкафу у моей матери стояла стеклянная банка, и в ней, как крупинки золота, поблескивало пшено. Из него приготовляли только суп, но оно неумолимо утекало, как песок в песочных часах. Я со всей наивностью мальчика, со всей юной жаждой жизни верил, что человек живет до тех пор, пока есть суп. Это мое глубокое убеждение возникло, наверное, оттого, что в течение двух месяцев нашей обычной едой был чай, жидкий суп и ломтик хлеба.

Но вот наступил день, когда пшено кончилось. Мать высыпала последнюю горсть в кастрюлю, зернышки стали оседать, а вода мутнеть и подергиваться белой пленкой.

Я видел, как озабочена мама, и мне стало страшно: что-то нас ждет впереди?

Мать послала меня к соседям за какой-то мелочью. Я вошел в комнату, семья сидела за столом и сосредоточенно, не обращая на меня внимания, хлебала суп. Я пригляделся и увидел, что это был накрошенный в горячую воду хлеб. И в тот же миг я по-настоящему обрадовался. Значит, из хлеба тоже можно делать суп, и мне было странно, как я об этом не догадался раньше.

Теперь я знал, что у нас будет суп, и жизнь будет продолжаться.

Рос я, в общем-то, с бабушкой. Она родилась в 1864 году, спустя два года после отмены крепостного права, пережила блокаду и умерла в Ленинграде в 1965 году, когда ей был сто один год. Она была глубоко верующей женщиной. Я ещё не умел читать и писать, а уже знал — и до сих пор помню — какие-то главные русские молитвы. И было всегда ощущение, что мы выживали в блокаду, спасались, потому что какая-то высшая сила нисходила молитвами бабушки и нас оберегала.

Наш дом был пятиэтажный, мы на первом этаже жили и, конечно, опасались, что при обстрелах, бомбёжках если не осколки, то стекло поразит. И поэтому мы — бабушка, мама и я — спали в коридоре, стены нас защищали. Бабушка каждый вечер их освящала иконой Иверской Божьей Матери. Это давало надежду. Меня бабушка окрестила в двадцать два года. В нынешнее время — особенно в нынешнее время — когда я вижу безобразие, творимое в жизни, когда почти перестаю верить людям, для меня остаются опорой православные идеалы.

У вас есть стихотворение «Полковник Ридигер». Его герой имеет какое-то отношение к нашему Патриарху Алексию II?

Там связь абсолютна. Нашего Патриарха[1] в определённых кругах травили как «господина Ридигера», стараясь унизить патриаршее звание. А Ридигер — это старинный род, выходцы из Швеции. И они весь девятнадцатый век, по свидетельствам историков, были замечательными военачальниками.

Полковник Ридигер, герой эпохи оной,
Вёл гродненских гусар на стан Наполеона. […]
А Кульнев, генерал, Отечественной слава,
Писал родным в письме, трактуя нелукаво:
«Коль милостей своих царь мне отпустит меру,
Я б их мечтал отдать герою Ридигеру…»
Когда в мой светлый день десница Патриарха,
Перекрестив меня — (знак Божьего подарка), —
Благословила в жизнь, я, чуждый маловеров,
Глядел в прекрасный лик потомка Ридигеров.

А как вообще вы стали писателем, поэтом? Что на вас повлияло? Детство, какие-то события, люди, книги?

К литературе я тянулся с самых малых лет. Мой отец был инженером, мать — врачом; оба работали. В доме была прислуга — домработница, так это тогда называлось. Простая девушка из деревни, которая безумно любила поэзию, особенно Пушкина, Некрасова. Мы с ней вместе читали, театрализуя. Раннюю поэзию Пушкина — «Чёрную шаль», например, — я до сих пор помню, потому что впервые услышал эти стихи от неё. Это была какая-то начальная аура поэзии.

[1] Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II (1929–2008), в миру Алексей Михайлович Ридигер, происходил из российского дворянского рода фон Ридигеров. — *Здесь и далее прим. ред.*

Если говорить о серьёзном влиянии, то моим наставником был Сергей Исаакович Хмельницкий[2], замечательный писатель, романист, сейчас, наверное, позабытый совсем. К сожалению, мы забываем ушедших ярких художников, мыслителей. Это был блестяще образованный человек, специалист по русскому и французскому средневековью, автор исторической прозы, переводчик. В ленинградском Дворце пионеров он руководил группой молодых поэтов. Так оказалось, что я был у него самым любимым учеником. И это, конечно, очень поднимало меня. И вообще заставило меня многое менять. Я очень его уважал, и это обязывало меня жить так, как он мне определил.

Обласканный отзывами Сергея Хмельницкого о моих стихах, я, семнадцатилетний мальчик, решился на такую акцию — показать стихи Анне Ахматовой (новелла об этой встрече входит в мою книгу «Тайное предназначение»).

Я аккуратно переписал все стихи в тетрадку. Как сейчас помню, дома были сборы, и мать впервые мне дала золотые часы, наследные. Я поехал на Фонтанку, к Анне Андреевне, предварительно, разумеется, позвонив и спросив, могу ли я представить свою тетрадку стихов. Я вошёл к ней. Прекрасно помню и эту комнату, и саму Анну Андреевну в момент встречи. Она взяла мою тетрадку и сказала, чтобы я через какие-то дни снова пришёл к ней. Она была очень любезная, светская дама.

В назначенный срок я вернулся, полный волнения и тревоги за то, как она оценит мои стихи. Она открыла дверь, без слов протянула мне тетрадку, закрыла дверь. Ушла. Я был в полном недоумении — ни хулы, ни хвалы, ничего, никаких слов. Абсолютно обескураженный, я пошёл по Фонтанке, к дому. По дороге остановился, прислонился к стене. Тут какой-то человек, прохожий, мне сказал: «Парень, подвинься, я читаю». Я покосился — на газетном стенде было Постановление ЦК об Ахматовой и Зощенко[3]. То есть, я попал в самый эпицентр, прямо в день этого Постановления в августе 1946 года, когда ей было не до разговоров с мальчиком, принёсшим стихи. Вот такая получилась странная — или не странная — история. Жестокое совпадение.

Ахматова, конечно, была травмирована и, должно быть, узнала о Постановлении за какие-то минуты до моего прихода. Ведь, в общем, обстановка тогда была очень благоприятная — книжки её собирались издавать. И вдруг, как топором… А, возможно, — я могу согласиться и с таким предположением — она,

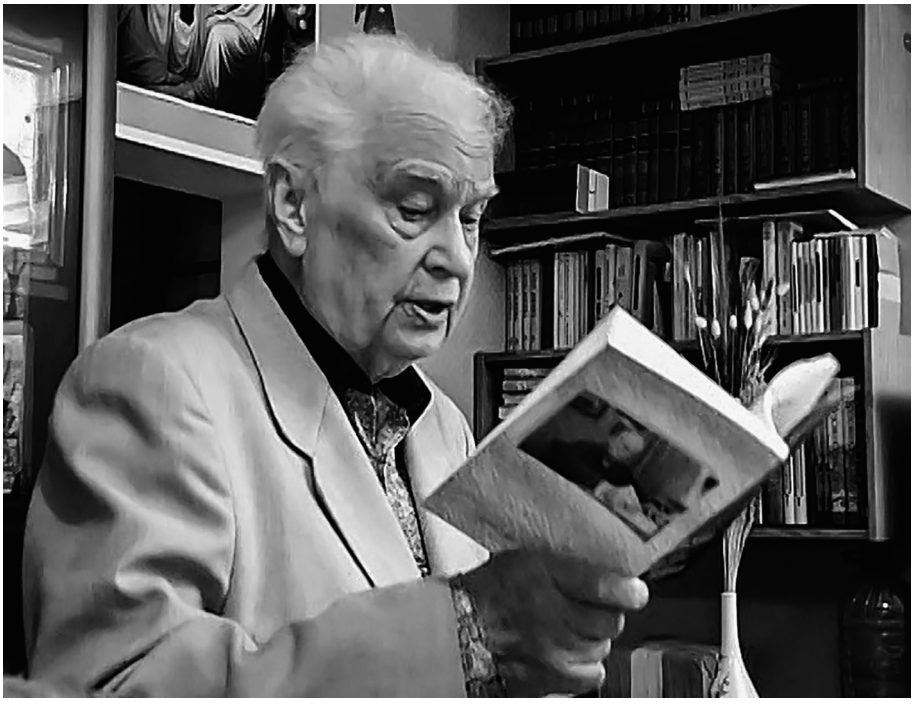
[2] С.И. Хмельницкий (1907–1952) служил также военным корреспондентом, пережил блокаду Ленинграда. Муж писательницы Екатерины Алексеевны Борониной.

[3] Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» от 14 августа 1946 года повлекло исключение из Союза писателей Анны Ахматовой и Михаила Зощенко.

оберегая меня, не стала вступать в общение. Она знала, что контакт молодого человека с поэтом, которого преследовали, будет вреден для молодого человека.

Много лет спустя, когда Ахматова умерла, я и Сергей Орлов[4] в составе делегации от Ленинградского отделения Союза писателей сопровождали её тело из Москвы в Ленинград. Гроб поместили в грузовом отсеке самолёта, как это всегда бывает. Был там один московский представитель. Не буду называть фамилию, видный поэт, но, увы, такой «запьянцовский» человек, который разрушал эту торжественно-печальную обстановку. Я этого поэта ценю, но из песни слова не выбросишь. Самолёт приземлился, ветер был сильный, холодно, но солнечно. Из окошка я увидел рыжую голову Бродского.

Может быть, самое сильное впечатление тех дней — это похороны Анны Ахматовой. На дворе был 1966 год, и в Морской собор на прощание с ней пришла вся та интеллигенция, которую не выслали, не посадили, не расстреляли, которая как будто проскользнула сквозь ячейки решётки. Это было старое русское дворянство, старая русская интеллигенция. Люди внутренне собранные. В её лице они провожали эпоху.



[4] Сергей Сергеевич Орлов (1921–1977) — советский поэт, прозаик, сценарист. Возглавлял отдел поэзии в журнале «Нева», занимал руководящие должности в Союзе писателей.

Ну а потом — в Комарово. И там долгое время на её могиле стоял прекрасный дубовый крест. Сейчас сделали каменный или металлический, он не производит уже того впечатления.

Анна Андреевна для меня — это часть блокады. Потому что о блокаде никто пронзительнее не сказал. «Первый дальнобойный в Ленинграде» — это было первое… почти гениальное слово о трагедии. И потом был целый ряд интересных и важных её слов.

Возвращаясь к началу моего пути, могу сказать, что большое значение имело и то, что я поступил в университет, на славянское отделение, а именно на болгарскую филологию. Оттуда меня ещё студентом послали в Болгарию, в Софийский университет. И я бесконечно расширил своё ощущение мира. Болгарский язык — это моя профессия. Всю жизнь для меня Болгария была как родная страна. Я любил её, восхищался, у неё прекрасная поэзия. И аура славянской поэзии — во всей её полноте — конечно, оказала на меня влияние.

Учителей в моей жизни как таковых не было. Но меня окружали люди на несколько лет старше меня, фронтовые поэты. У нас в Ленинграде это был Михаил Александрович Дудин[5], Сергей Сергеевич Орлов и другие. Но их влияние было нравственное. Это были люди, вышедшие из огня войны. В моём поколении они закладывали очень прямое и честное отношение ко всему, ощущение человеческой справедливости, нравственности. Мы росли, если выразиться казённым языком, под их идейным влиянием. А в поколении моём были очень хорошие поэты, например, блистательный Сергей Давыдов[6], прекрасный поэт, недооценённый. Как и многое у нас, это всё уходит в песок.

Вы большую часть жизни прожили в советское время, были Первым секретарём Ленинградского Союза писателей, потом Секретарём Союза писателей СССР. И, в отличие от других литературных начальников, вы помогали людям. Вы не примкнули к гонителям «Метрополя»[7]. Здесь живут те, кто, не будучи начальниками, могли просто промолчать. А вы…

---

[5] М.А. Дудин (1916–1993) — советский поэт, автор текстов песен, переводчик и сценарист. Служил военным корреспондентом, в том числе в блокадном Ленинграде.

[6] Сергей Давыдович Давыдов (1928–2001) — советский и российский поэт и прозаик, переводчик, сценарист. Самый младший из «поэтов-фронтовиков». Вместе с Олегом Шестинским и Геннадием Козанским был автором сценария к художественному фильму «Ижорский батальон» (1972).

[7] Альманах «Метрополь» (1978; самиздат) — сборник текстов, которые не проходили в советскую печать по цензурным соображениям. Был создан по инициативе Виктора Ерофеева и Евгения Попова. Помимо их произведений, в сборник также вошли сочинения Василия Аксёнова, Юза Алешковского, Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского, Владимира Высоцкого, Фазиля Искандера,

Я отказался вести какие-либо разговоры. Хотя — я должен откровенно сказать — в целом альманах «Метрополь» показался мне средним, за исключением поэмы «Москва-Петушки»[8]. Но когда устроили издевательские проработки, я не стал в этом участвовать. А другие люди, кто учинял эти издевательства, известны.

Когда-то и здесь шла война, в доме Корнея Чуковского, по соседству с которым мы находимся, — война между Солженицыным и Союзом писателей. Расскажите, как вам виделась эта ситуация изнутри?

В то время я жил ещё в Ленинграде. Поэтому конкретно этими проблемами ни я не занимался, ни Ленинград не занимался.

Могу описать одну забавную ситуацию. Солженицын был членом Союза писателей, когда наступила эта чёрная полоса в его жизни. Я тогда был Вторым секретарём в Ленинградской организации, а это огромная организация была, четыреста человек! Первым секретарём был Даниил Александрович Гранин[9], входивший также в секретариат Союза писателей.

Понимаете, в то время так называемые прогрессивные писатели, не будем даже их называть диссидентами, желали большей либерализации. Но они ведь — как и все — жили в условиях своего времени. И порой их поступки были крайне неприглядны.

Что произошло с Граниным? Когда в Москве голосовали за исключение Солженицына[10], три человека воздержались: если не ошибаюсь, это были Агния Барто, Даниил Гранин и, кажется, Франц Таурин[11].

Юрия Карабчиевского, Юрия Кублановского, Семёна Липкина, Инны Лиснянской, Евгения Рейна, Генриха Сапгира и других. В художественном оформлении Альманаха принимали участие Борис Мессерер и Давид Боровский.

[8] Видимо, произошла путаница. Поэма «Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева в полном виде в СССР была опубликована лишь в 1989 году в альманахе «Весть». В альманахе «Метрополь» были опубликованы рассказы Виктора Ерофеева.

[9] Д.А. Гранин (наст. фамилия Герман; 1919–2017) — советский и российский прозаик, сценарист, общественный деятель; лауреат многих государственных премий. В 1979 году в соавторстве с Алесем Адамовичем написал «Блокадную книгу» — основанную на документальных свидетельствах историю блокады Ленинграда. Книга вызвала недовольство чиновников за неприглядный образ руководства страны во время блокады.

[10] Александр Солженицын был членом Рязанского отделения Союза писателей. В связи с этим, первоначальное решение о его исключении из Союза было принято Рязанской писательской организацией, а Секретариат Союза писателей это решение должен был утвердить.

[11] Франц Николаевич Таурин (1911–1995) — советский прозаик. В разные годы руководил Иркутской писательской организацией, был секретарём Союза писателей, заведовал отделом прозы в журнале «Новый мир». Представлял Союз писателей на заседании Рязанской писательской организации 4 ноября 1969 года, с которого начался процесс исключения Солженицына.

Потом Даниил Александрович сел в поезд, в «Стрелу», и поехал в Ленинград. Он всё время балансировал между властью и так называемой либеральной интеллигенцией. Гранин своим сложным умом понял: этим жестом — тем, что он воздержался — он портил себе репутацию в Ленинграде. А Ленинград — это всё равно что Москва в руководящих органах. Не только софроновы[12] и кочетовы[13] накидывались — либеральные писатели тоже исходили из своих жизненных положений. И Гранин с дороги, по-моему, из Бологого, дал телеграмму о том, что он присоединялся к исключению Солженицына.

Ситуация для меня осложнялась тем, что мне, как заместителю Гранина в Ленинграде, предстояло проводить правление в Ленинградской организации, где Гранин должен был докладывать о происходившем в Москве. Потому что эти вещи не были общеизвестны. А Гранин исчез. Его и оргсекретарь разыскивал, звонили на дачу, домой — нет Гранина. Потом, через некоторое время, он объявился. Я его спрашиваю: «Данила, ну как же ты меня так подставил под этот разъярённый, софроновско-кочетовский круг? Ничего мне не разъяснил, не рассказал, я в глупейшем положении эти два дня!». А он мне говорит: «Ты знаешь, я не хотел тебя расстраивать…»[14].

Вот такие детали этой сложной ситуации. К Солженицыну было такое себестойно-защитительное отношение так называемых либеральных кругов. Это не выдумка моя. Это всё существует, всё опубликовано.

---

[12] Анатолий Владимирович Софронов (1911–1990) — советский поэт и прозаик, автор стихов к популярным песням, переводчик, общественный деятель. Секретарь Союза писателей в 1948–1953 годах, главный редактор журнала «Огонёк» в 1953–1986 годах. Активно и последовательно поддерживал линию партии.

[13] Всеволод Анисимович Кочетов (1912–1973) — советский писатель, автор романов в жанре социалистического реализма. Занимал должности в Ленинградской писательской организации и Союзе писателей. Главный редактор «Литературной газеты» (1955–1959) и журнала «Октябрь» (с 1961). Выступал с критикой М. Зощенко, В. Панаевой, Д. Синявского, авторов альманаха «Литературная Москва», кинематографа периода «оттепели», журнала «Новый мир». Требовал жёсткого идеологического контроля в литературе. Покончил с жизнью в Переделкине.

[14] Согласно Протоколу № 21 (от 5 ноября 1969 года) заседания Секретариата Союза писателей (РГАЛИ, ф. 2938, оп. 2, ед. хр. 326), Барто и Гранин, действительно, имели возражения в процессе обсуждения вопроса исключения Солженицына. Однако при голосовании воздержался только Гранин. Имени Таурина в списке голосовавших вообще не было. И лишь в сделанном 14 ноября 1969 года дополнении к протоколу указано, что Гранин «в разговоре по телефону с председателем правления СП РСФСР Л.С. Соболевым заявил, что, познакомившись с дополнительными материалами, он согласился с решением Секретариата об утверждении постановления Рязанской писательской организации об исключении из членов союза писателей СССР Солженицына А.И. и просит считать свой голос поданным за исключение» (там же; л. 76). См. материал В. Огрызко в газете «Литературная Россия» (2019. №№ 40–41).

Дожив сегодня до семидесяти,
Я думаю, скрывая вздохи,
Как смог я груз эпохи вынести,
Не треснув в пламени эпохи? […]
Я выжил в голоде блокады,
Не сник под игом масскультуры.
Жил, не снимая с жизни пенки,
Не тешил пищевод в усладе,
Сурово выставлял оценки…
Но грустно сам себя оценивал,
Поскольку только речи вспенивал,
А не погиб на баррикаде.

Что для вас патриотизм?

Я убеждённый, глубокий русский патриот. Я вам скажу одну любопытную вещь. Укрепляться в своём ощущении Родины, даже православия и Родины — как опоры моей жизни — меня во многом научила судьба моя. А судьба была такая, что мне много приходилось ездить по миру, бывать в разных странах, на разных континентах. И в каждой стране — в каждой стране! — где я был, ощущалось, как люди проживали свои жизни. Ощущалось, что этот вот большой или маленький клочок земли, на котором они жили — святая земля их отцов и их потомков. Пускай это и звучит пафосно. Иначе говоря, я видел, что с таким ощущением страны, народа, рода своего, жил весь мир.

Передо мною мир распахнут,
Ничем не скован и не сжат,
Мои поля ромашкой пахнут,
В траве кузнечики трещат.
Спускается закат в низины,
И неизменно, как часы,
Он ляжет спать в кустах малины,
Весь в добрых капельках росы.

Что для вас означает понятие «Великая русская книга»? И можете ли вы к этому понятию отнести книги современных авторов?

«Великая русская книга» для меня — это прежде всего русская классика. Классика была очень нравственна, она была очень народной. Я сейчас перечитывал одного известного вам писателя, Владимира Даля. Какой язык, захлебнёшься от языка! А прошлым летом я читал многотомник русской зарубежной литературы, восполнял пробел. Там всё об одном: «Не суди, не судим будешь».

Ну а как по-человечески писатели относились друг к другу — это вообще отдельная тема. Я, например, сейчас выступаю антиподом Сергею Владимировичу Михалкову. Потому что какие бы ни были взаимоотношения между писателями, организовывать сто-численную группу омоновцев с автоматами, врываться и выгонять писателей[15], пусть они тебе неприемлемы с любой точки зрения — это вечный позор для литературы. Я и в прозе, и в публицистике резко выступаю — и ни от кого не скрываю этого — против подобных совершенно безумных поступков. Вот она, новая жизнь!

Живут в селенье Переделкине
сплошь беллетристы и поэты
и тешат душу перестрелками,
а вместо пуль у них наветы.
Для всех цветочки полевые
и общий родничок на склоне,
но вот одни — как бы в России,
другие — как бы в Вавилоне. […]
А уровняет всех земелька
на переделкинском кладбище,
спят царь Додон и смерд Емелька —
и там никто уж не напыщен.

Моё мнение в том состоит, что страна погрязла во лжи, в приспособленчестве, в коррупции, в ощущении того, что главное для человека — нажива. Писатели заняты не творческими спорами, не идеологическими расхождениями, а тем, как наиболее удачно разделить недвижимость и всё прочее. Как бы ни было сложно до Перестройки — и я готов перечислить эти сложности — но не было этого заклинивания на наживе. Только на своей личности. Было человеческое общение. Конечно, многое случалось. Но была и какая-то… порядочность. Больше порядочности, чем сегодня, как мне кажется.

А зачем нам плакать о России,
причитать,
если мы у Бога не спросили —
кто же тать?

[15] Видимо, речь идёт о спорном здании на Поварской улице, так называемом доме Ростовых, которое занимали Союз российских писателей, Союз писателей Москвы и редакция журнала «Дружба народов». В январе 2004 года Сергей Михалков, глава Международного сообщества писательских союзов, претендуя на права законного арендатора, направил предписание об освобождении занимаемых площадей. 22 января сотрудники частного охранного предприятия не пустили членов СРП и СПМ на территорию дома Ростовых.

Если Крест лишь на словах нам дорог,
как и честь,
то, быть может, самый страшный ворог —
я и есть?

И даже всеми проклятое понятие советской литературы гораздо сложнее, чем вертается под эти проклятия. В чём было её преимущество, очень высокое, исчезнувшее сейчас? В том, что она объединяла разнонациональных писателей. Сейчас, уничтожив переводческую работу в стране, мы добились того, что одним из самых звучащих слов стало слово «ксенофобия». А тогда через книги, через переводы я любил и армян, и грузин, и белорусов… И меня так же воспринимали там. Они меня много переводили. Вот эта общность — я её и называю советской литературой — она объединяла. Страна требует такого объединения, национального. Сейчас его нет, оно рухнуло.

Я жизнь свою помню с огня и печали,
со звона декабрьской земли,
когда динамитом кладбище взрывали,
чтоб мёртвые в землю легли. […]

А если бы смог мне тогда примерещиться
позор наших нынешних дней,
я выполз бы, мальчик, из бомбоубежища,
не прячась от смерти своей.

И второе, уж коли этого вопроса коснулись. Я лично исключаю из понятия советской литературы так называемый «социалистический реализм». Его не было. Это была фикция. Вот, я был руководителем Ленинградской организации. Кто использовал это название — «социалистический реализм»? Только наши младшие научные сотрудники, которые становились кандидатами, докторами, академиками на разборе этого вопроса.

Мир очень сложен для меня также и в литературном его понимании. И то, что мы сейчас имеем, — это тоже приспособленческая литература. Потому что ушла цензура идеологическая, пришла цензура экономическая — не менее жестокая. Я, например, по своему характеру не пошёл бы искать какого-то спонсора. Просить, чтобы тебя издали — это унижает писателя. А сам к тебе никто не придёт. Так что положение жестокое. Не менее жестокое, чем было по своим приметам, по своим делам, тогда, раньше. Так мне кажется.

***

Радуга цветных карандашей…
Сын меня рисует очень просто:
Невысокого, как в жизни, роста,
Ноги,
Руки
И улыбка
До ушей. […]

Мальчик в прозорливости своей
Словно видит —
Я с глупцами спелся,
Полуправдой вяленой объелся,
Раздобрел, как старый соловей. […]

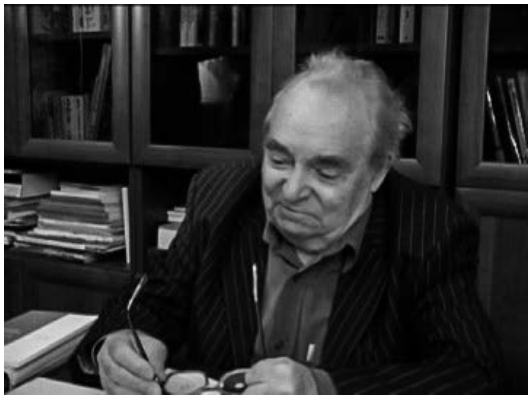
Покачнусь,
А не с руки мне гнуться…
Брошу всё. Уйду я от ханжей.

Я ещё сумею улыбнуться,
Как твой человечек, —
До ушей.

30 августа 2008 года
«Богатырь я, точно в сказке!»
Вечер Николая Воронова*

До переезда в Железнодольск я вижу себя почти только летом. Вёсны, зимы, осени — как молоко сквозь цедилку — прошли сквозь мою память, словно я не жил в эту пору, а спал на тёплой печи, укрытый с головой тулупом… — так начинается история о мальчике Серёже из романа Николая Воронова «Юность в Железнодольске»[1]. Но это — история, рассказанная автором и о себе.

В 2008 году, на вечере в Литературной гостиной Переделкина, Николай Павлович говорит о своей судьбе, которая отразилась в его книгах — и гости слушают очень внимательно. Что-то такое особенное есть в этой встрече. Каждому вспоминаются детство, юность, любовь и — война, на которой не все были, но которую каждый по-своему чувствует.



Я сперва немножко скажу о том, о чём многие, сидящие здесь, по возрасту не осведомлены, — начинает Николай Павлович свой вечер. И звучат строчки из его романа «Юность в Железнодольске».

Мы уходили на свалку битого стекла. Искали осколки зеркал и линз, обломки зелёных пластин, внутри которых проступали медные сетки. За стёклышками железнодорожных фонарей охотились наперебой. Как мы радовались мгновенным цветовым превращениям мира! Была серой будка (из неё дают пятиминутные гудки о начале и конце смен), было морковным здание прокатного стана, были белыми кольца пара (где-то на стане, говорят, работает паровой молот и пускает их в небо) — и вот всё это стало красным, зелёным или жёлтым, только меняй стёклышки перед глазами…

---

* Текст подготовлен Татьяной Петрикеевой.

[1] Юность в Железнодольске // «Новый мир» (Москва), 1968, №№ 11–12. — *Здесь и далее прим. ред.*

У каждого из нас свой жизненный калейдоскоп, но как же душа может встрепенуться от сокровенных впечатлений детства!

А ведь и впрямь так устроен человек: услышав знакомое и родное, перестаёт думать о том, где услышал это. Он переносится в то родимое, жарко пышащее любовью, терпко пахнущее детством, молодостью — одним словом, жизнью. Может, попросту сеном, на котором впервые встречал зарю с любимой… Может, молочным запахом ребёнка, только что уснувшего на твоих руках… А может, войной, лишениями, холодом, страхом за близких, смертью… Чего только не доводится испытать человеку! А если ещё и читает много, вспоминает он и аромат близкой сердцу книжки, расположение в ней строк и абзацев, названия глав и эпиграфы к ним…

Помнится ему близость автора — ведь и тот был когда-то безудержно предан мечтаниям. А читатель переносится на те страницы, где был юн, и проносит эту юность до самой зрелости, до старости даже, потому что родимое узнал, изведал, отзвук себя самого прочёл, приблизившись к сокровенному, тайному. Так и мы, что бы ни читали, где бы ни летали, все душой стремимся к родимому. Ищем хоть несколько исконных, своих слов в любом стихотворении, в любом творении писателя. И книги Николая Воронова обладают способностью уносить читателя в прошлое, напоминая о том, что ближе всего сердцу.

И всё-таки удивительней в памяти не странность отбора, а глубина. В каждой поре жизни она выхватывает из темноты забытого какие-то картины, случаи, лица, ощущения, и через них видишь самого себя и людей, среди которых жил… — будто отвечает на наши размышления автор.

Не о лёгкой жизни пишет Николай Павлович. Да ведь и у него самого жизнь лёгкой не была. Окунаясь в его воспоминания, видишь то, чему сам и не был свидетелем, будто в тебе говорит память поколений, чувствуешь боль за родню, сопереживаешь матушке-земле, простым людям.

Уже мальчуганом Коля Воронов отличался твёрдым характером. Вспомнить хотя бы его историю про зуб, которую он рассказал на вечере!

Когда я поступал в школу, существовал класс «нулёвка». Меня директор спросил, как я читаю. Я ответил, что читаю плохо, и он меня записал в «нулёвку». До перемены большой мы досидели, вышли на улицу. Тут я вижу знакомца из соседнего барака, мы с ним симпатизировали друг другу. Я говорю: «Вовка, я научился бить калган головой. Я хочу тебе показать, но я понарошку это сделаю». Когда стал показывать, ударил не понарошку, а выбил ему зуб. Директор вышел, увидел: кровь изо рта у Вовки, зуб на земле лежит. Он спросил, кто это сделал. Я признался, и директор сказал: «Пойдёшь в первый класс».

В Магнитогорске мне присваивали звание Почётного профессора университета, и я тогда рассказал об этом первом «посвящении». Это аукалось через всю жизнь. Случай с зубом был в моих чувствах одной из поэтических копилок, потому что директор был особый и особую мудрость проявил. И я думал о том, что допустил оплошность, что мне нужно оберегать себя от опасных оплошных действий по отношению к человеку. Это распространялось и на мою работу: я стремился писать людей так, как они того заслуживали, часто во множественности их. Хотя больше я писал всё-таки людей светлых, добрых.

Николай Воронов окончил в Магнитогорске школу-семилетку в 1942-ом, ремесленное училище — в 1944-ом. Подростком пошёл работать на комбинат, электрощитовым доменной подстанции. Многие его произведения посвящены непростой жизни рабочих людей, ведь он сам прошёл через то, о чём пишет: *Когда я работал на металлургическом заводе, я трижды отравлялся доменным газом и еле выжил. Отравление доменным газом вызывает такое сердцебиение, что кажется — сердце вылетит через рот.*

Роман «Юность в Железнодольске» немало трудностей принёс в своё время журналу «Новый мир» и его редактору, Александру Твардовскому, который так однажды сказал о Воронове: *У истинно талантливого нет фальши. В этом его отличие от ремесленника. Ремесленник знает, что сегодня нужно. Талант пишет жизнь. Вот Воронов её и пишет.*

Вторит Твардовскому и один из гостей вечера, писатель Виктор Петрухин: *Когда вышел роман «Юность в Железнодольске», мы с друзьями читали его вечерами, вслух. А потом его начали ругать в «Правде», в «Литературной газете»… Но единственный, кто правильно написал о рабочем классе в то время, — это как раз Николай Павлович. Черноты там нет, там естество и поэзия. Это очень ценное качество, и я думаю, что настанет время, когда будут изучать советского человека по таким книгам. Настолько там тёплое, доброе, правдивое отношение к человеку и отображение человека.*

Юность Николая Воронова пришлась на военное время. Есть у него автобиографический рассказ, «Сон о Боге»[2], — о том самом времени, когда только чудо могло помочь остановить войну. Все тогда ждали, что будет дальше, выживут ли они сами, их родные. Будто молитва об окончании войны, явившаяся в ту пору сном Николаю Павловичу, рассказ этот и сейчас пронзителен.

Когда начиналась война, всем говорили: через месяц мы закончим войну. Но уже столько прошло с её начала… И я перед новым годом, 1943-им, перед утренней сменой, сплю, и мне снится сон, что я бегу в колодках на металлургический завод. Мы бегали, потому что верх колодок

[2] Сон о Боге. Москва, 2006.

был из хлопчатобумажки, а когда мороз, это для ног просто ужас. И во сне я бегу и вдруг вижу легчайшего, высокого старика. Был снег, и ветром сносило ему бороду в сторону. Я себя самого спрашиваю: кто это? И мне ответ: это Бог. И я побежал за Богом… Вдруг вижу на асфальте надпись: «9 мая 45-го года». Я спрашиваю себя, и мне ответ: в этот день, месяц и год закончится война.

Был у меня друг, Борис Игнатьев, он работал токарем в механическом цехе и вёл дневник. Юношами мы оба писали стихи, но я бросил… Так вот, я утром проснулся и бегом — на металлургический завод, к Борису. Прибегаю, говорю: «Борис, я видел сон, запиши». Он записал. Я никому, кроме него, не рассказывал.

Когда война кончилась, я работал в ночь. Выхожу, смотрю — Борис Игнатьев… Их дом рядом был, недалеко от проходных ворот. Мы поднимаемся на второй этаж и видим плачущей его мать — их обворовали! У нас мысль: неужели украли дневники? Стали смотреть и нашли запись. Всё точно, как в том сне, где я видел Бога: день, месяц и год окончания войны! Я много лет внутренне лелеял и очень боялся испортить, унизить этот случай. Потом решился, отдал в «Литературную Россию».

Как же получилось, что Николай Воронов перестал писать стихи? Всё дело в стойкости его характера, неуступчивости и умении отстоять собственное, дорогое. Не искалечить драгоценное, подогнав под одну гребёнку со всеми, а просто отойти в сторону от того, что сердцу не мило. Часто из-за неуступчивости этой, особенно когда Коля, по мнению директора, «перегибал палку», его исключали из школы.

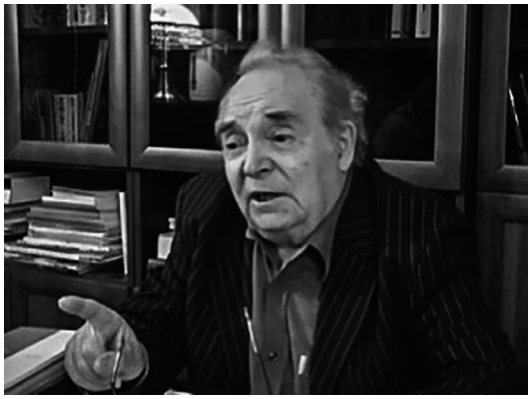
Матери посоветовали — чтобы директор реже меня исключал и всё-таки держал в школе — угостить его: водки купить, сделать пельмени. Они разговаривают — директор, бабушка моя, мама — а я сижу на сундуке. И вдруг мама говорит о том, что я пишу стихи! А я прятал их за сундук, и у меня уже было сорок стихотворений в толстой тетради. Мама подаёт тетрадь директору (я хотел вырвать — не получилось). Он сказал, что прочтёт, и мы поговорим. Вызывает меня дня через два: «Слушай, вот ты пишешь:

“Ветерочек дует и снежок летит…
Казачка молодая в окошечко глядит…”

Ты пиши, как Маяковский:

“Ветер дует.
Снег летит.
Казачка молодая
в окно глядит.”

Ты железобетонь, как Маяковский!».



А Магнитка вся в железобетоне была, и этот глагол там присутствовал. Я ему сказал, что железобетонить, как Маяковский, не буду. Я считаю Маяковского великим поэтом, но я батюшку Крылова читал в календаре, и батюшка Крылов пишет: «Лучше проквакать по-лягушачьи, но по-своему». Я буду этого придерживаться. Он удивился, помолчал, потом назначил меня главным редактором стенной газеты для ребят от первого до четвёртого класса.

И всё же директор, поговоривши со мной, нанёс мне тяжелый удар. Я не принял идею Маяковского — железобетонить — и перестал писать стихи.

Но не зря говорят: от судьбы не уйдёшь. Николай Воронов всё-таки поступил в Литинститут, и у него вновь появились и стихи, и рассказы, и повести… Правда, относился он к ним весьма критично.

Приближалось дипломное время, я ещё писал повесть и не знал, что мне защищать. И потом почувствовал, что стихи и большинство рассказов надо сжечь. Я жил в Переделкине, на даче. Если со стороны шоссе входить, справа, дача была Бруно Ясенского, и на ней другой литератор жил. На втором этаже было общежитие, и там в печке я жёг свои стихи и рассказы. Был при этом Леонид Кривощёков, первая любовь Юлии Друниной. Он спросил, что я сжигаю. Я рассказал. Он сказал, что у одного парня из Коврова не хватает стихов на книгу и предложил отдать ему стихи, которые я ещё не сжёг. Когда книга была издана во Владимире, в рецензиях часто хвалили именно мои стихи. Встретивши меня, тот парень сказал: «Мне обидно, что хвалят твои стихи, а не мои». Я говорю: «Теперь это твои стихи, я же от них отрёкся». Так вот помог человеку.

А ведь стихи Николая Воронова удивительны! Как раз незадолго до вечера, в 2006 году, вышла его книга «Моя крылатая родня»[3]. Стихи о дятле, о синицах — его пернатых друзьях — очень много говорят о самом поэте, о его любви к Жизни (кстати, в хозяйстве у него самого были и куры, и петухи, и голуби; Николай Павлович часто любил смотреть в небо, наблюдая полёт птиц).

[3] Моя крылатая родня. Магнитогорск, 2006.

…Я подвержен теперь, как природа,
Перепадам московской погоды.
По-сорочьи, а есть ведь свобода,
Я не смог бы смотреть с небосвода.
Он почти что такой, как издревле,
Этот мир зачумлённо святой.
Птицы, точно старухи в деревне,
Не надышатся красотой.

Николай Воронов смотрит на мир глазами и птиц, и людей: ребёнка, мудрого старца, молодой сойки. Живо смотрит и пишет так же — просто и ненадуманно, без прикрас. Слова струятся, строятся в стихи, будто на одном дыхании! Но пишет он не только о пернатых. В стихотворении «Поклонное» поэт просит нас: *Поклонитесь деревне, поклонитесь деревне. / Беспокойной деревне российских старух…*

Николай Воронов восхищён красотой природы и, в то же время, переполнен болью за беззащитных — птиц, детей, стариков. В стихотворении «Возврат» поэт грустит о ранах земли, вызванных стремлением куда-то ввысь, к созвездиям. Мы часто не замечаем того, что рядом с нами, не дорожим близким.

…Нам рано, нам рано к созвездьям.
К планетам не рано ль, не рано?
Наш разум, отдался он безднам:
Земля, как смертельная рана…

Трогательны стихи Воронова о дружбе с птицами, настолько близкими ему по духу, что он называет их «крылатой роднёй». В поэме «Зяблик» поэт говорит о птице как о дорогом человеке.

…Сквозь губы трель продуя,
Я стану дожидаться,
Что зяблик отзовётся,
И начал отзываться. […]

— Снижайся, кроха чистый,
Скучаю со вчера.
Не беспокойся, быстрый,
В разъезде детвора…

Гость вечера, критик Надежда Богухвал, автор статьи о Николае Воронове «По-крылатому, родной», рассказывает о своём удивительном душевном порыве: *Когда мы провожали его в Москву, обняв Николая Павловича, я вдруг произнесла — не просто произнесла, а это был выкрик глубинный — «Родной! Родной мой человек!». Что мне*

позволило так откровенно такое признание явить тогда? Наверное, та глубинная память, память сердца, память души, память наших инкарнаций…

Дружба устанавливает в человеке гармонию. Знаем, как тяжело сейчас, как заражено человечество бациллами самости, гордыни, зависти. Николай Павлович видит спасение через соединение с родными душами. В ряду крылатых душ и крылатой родни он видит, прежде всего, детей, детское начало. Чистое, непосредственное, ещё не потерявшее способность удивляться миру, радоваться, открывать его.

…Чтоб осчастливить родину
В детскую твою пору,
Я бы держал, как смородину,
Гору, уральскую гору. […]

Мальчик, ты рано родился.
Нет, ты как раз подоспел.
Те, кто сегодня явился, —
Дети спасительных дел.

Сегодня, безусловно, молодым трудно почувствовать точку опоры, если нет твёрдого стержня, убеждённости, знаний. Но не стоит забывать о том, как трудно было выжить в ту эпоху — эпоху угодничества — таким несгибаемым людям, как Николай Воронов.

Когда я появился в Литинституте, — продолжает Николай Павлович, — *студенты подходили ко мне и говорили: «Хорошо, что ты из рабочего класса, мы будем помогать тебе, выдвигать». Я согласился быть председателем профкома. И вот, Литфонд дал нам двадцать тысяч, а в те времена это большие деньги были — стипешка-то у нас начиналась со ста двадцати рублей.*

И меня вызывают. Сидит сам директор по творчеству (потом он был первым редактором «Дружбы народов») — Василий Александрович Смирнов. Они говорят мне что-то подписать, я читаю список и вижу: богатым студентам дают большие деньги, а нам — крохотные. Что я тогда узнал? Представители федеративных республик получали деньги сверх стипендии — по четыреста, по пятьсот рублей. «На развитие национальных культур». Я спрашивал их: вам дают на развитие национальных культур, а у нас в России много народу, почему нам не нужно на развитие? Они отвечали, что это надо спрашивать у верхних людей. Хорошо, что они нас не презирали за то, что мы бедняки. Многие, которые потом стали знаменитыми и большего достигли, чем эти ребята, были обдергаями…

И я сказал, что не подпишу. А при мне зашёл руководитель комсомола института и подписал. Я вышел и сказал ребятам, что не стал подписывать. А он вышел и сказал: «Воронов подписал, а я нет».

Это был фронтовик, восемь лет на флоте! И я подбежал к нему и врезал по морде. Ну, все поняли, что это справедливо.

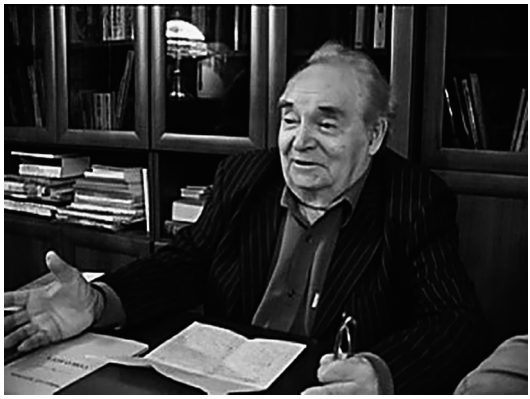
На третьем этаже был Литфонд СССР. Я поднялся в приёмную Леонида Леонова — он обещал всё поломать и во многом поломал, а мне директор и его заместитель, Смирнов, пригрозили, что выкинут из Литинститута.

Я подал повесть для защиты, а там у меня: «Жил-был Сталин…». А это пятьдесят второй год. Рабочие спорят: один говорит, что Сталин пишет, будто все исторические процессы решают народные массы, что им помогают руководители, их вожди. Другой говорит: «Получается, Сталин главнее народа». В общем, мне предложили на следующий год защиту перенести. Я сказал, что не перенесу.

Леонид Кривощёков мне говорит: «Что-то происходит с твоим дипломом, дай, посмотрю, справедливо или нет». Я на рассвете проснулся — Леонид плачет: «Бездарные вещи они пятёрками отмечают, а твоя вещь интересная, и её требуют на следующий год отложить». Все ребята — у нас, в основном, были фронтовики — говорили: защищайся!

Дали мою повесть одному переделкинскому писателю на рецензию. Я приехал, а жена говорит: «Что-то у него в машинке печатной есть». Подошёл к машинке, а там: «Я никогда не читал такой очернительской вещи…». Его, видимо, настроили написать отрицательным фоном, и он дал маху.

В институте меня поддерживал только Паустовский, завкафедрой литературного творчества. Он говорил, что это сильная вещь, требовал, чтобы меня допустили к защите. А Смирнов был им фактически вытащен из провинции, из Ярославля, наверх и назначен заместителем директора по творчеству. Смирнов не сумел Паустовскому противостоять и допустил защиту. Меня поддержали очень крупно ребята-фронтовики.



Сам я защищался хорошо. Дали на рецензию Евдокимову — он только окончил Литинститут, года за два до этого, и его за книгу рассказов о фронте очень критиковали. И Леонова критиковали за то, что он предисловие написал. Так вот, Евдокимов мне написал прекрасную рецензию и выступил очень здорово. В общем, мы, студенты, их победили. Председателем комиссии был Всеволод Иванов — он меня поддержал. Асмус был в комиссии — философ, критик,

эстетик. Он меня поддержал, не читая эту вещь. Когда я вышел после защиты, он попросил дать почитать. Это было летом. Вернулся я осенью, а он меня увидел возле института и говорит: «Вы свою вещь завершили?». Я ответил, что не продолжил. Он: «Ну как же так? Это незаурядная вещь!». Называлась она «Испытание на прочность».

Надо сказать, что препятствия Николаю Воронову учиняли на каждом шагу — цензура нещадно сокращала, резала его произведения. Но не на того напали!

Половину моего романа «Женское счастье»[4] *напечатал Твардовский. Вторую же половину цензура и ЦК хотели снять. Меня вызвал секретарь Обкома калужского и сказал, что меня ждут в ЦК, что я должен согласиться, иначе три года не будут публиковать. Я приехал. Два дня меня ломали, но я не согласился. На второй день Твардовский меня ждал — я пришёл к нему в половине одиннадцатого ночи. «Согласился?» Я ответил, что нет. «Молодец!» — сказал он и пожал мне руку. — «Мы вас защищаем и, слава Богу, вы поддержали нас и себя». Тут раздаётся звонок от Альберта Беляева, заместителя заведующего отделом культуры (все министры культуры республик были ему подчинены, и журналы, и цензура). Он говорит Твардовскому: «Александр Трифонович, а ведь Воронов-то согласился». Я кричу: «Александр Трифонович, дайте мне трубку!». Беляев кричит: «Не давайте, не давайте!». Твардовский такой мат издал — я не слышал более искусного, прекрасного мата! И мы с ним замолчали, а он потом говорит: «Наступают последние времена». Он всё предвидел: что соцсистема рухнет, что Советский Союз рухнет… А это был шестьдесят девятый год.*

И впоследствии произведения Воронова не раз подвергались критике. *Одно время был сплошной каскад запрещений. Вот как получилось с «Тёплыми монетами», которые только недавно своё имя обрели в журнале «Путеводная звезда».*

У нас появился новый редактор в газете «Магнитогорский рабочий». Он попросил у меня что-нибудь с продолжением. А я уже год там проработал, вёл литобъединение и сказал, что есть повесть «Тёплые монеты», но её не пропустят. Он говорит: «Если не пропустят, оставлю пост». А в те времена никто своих постов не покидал, если не выкидывали. Я ему дал повесть, он прочёл и говорит: «Трудно будет, но я напечатаю». И мне приснился сон, будто я прихожу к главному редактору, и он говорит, что мою вещь запретили. Так и получилось…

Я недавно заметил, что невольно описал бедность жизни. Мне казалось, я пишу нормальную жизнь, никакой особой бедности нет и бездуховности тоже. Оказывается, помимо меня какие-то вещи выходили — вдруг я сам это обнаруживаю с удивлением. Писатели часто не предполагают, что через чувственность, через мелодику фразы, через заглавия,

[4] Женское счастье. Пермь, 1969.

через отношения героев они нечто выражают. У Толстого есть хорошая фраза о «сцепляемости характеров», которая очень много даёт. Когда я писал, не думал об этом.

Писатель, доктор филологических наук, профессор Чингиз Гусейнов говорит на вечере об образности и афористичности вороновского языка: *Вот у Воронова: «Мать толмила об этом дочери». «Толмила» — возникает огромное количество ассоциаций, которое может привести к Талмуду даже. Причём, Талмуд — одно, толмач — другое. Или, очень интересно: «малыш не доспел». Современный литератор написал бы: «недоношенный», а у Воронова — «не доспел». Сразу какое-то сближение с природой. Слово у Воронова — это образ, это большой объём! Николай Павлович, я должен сказать, что ценю вас как последнего из могикан русского художественного слова!*

Не только Чингиз Гусейнов, но все пришедшие на вечер понимают: язык Николая Воронова неповторим, самобытен. Удивительно, но гости, сами того не замечая, вдруг как будто изъясняются уже по-другому, мелодичнее. Появляются в их речи сказочные и простые — но так редко используемые в повседневной жизни — слова.

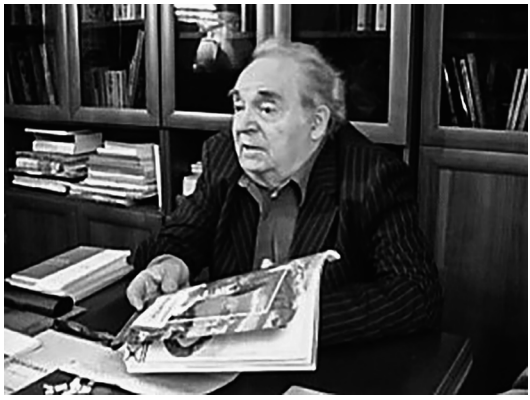
С любовью говорит о Николае Воронове и о его дивном языке невестка Николая Павловича, Инна Воскобойникова: *«Приговорённый Флёрушка»*[5] *меня лишил сна на три ночи. Я три ночи читала и почувствовала, как слово вышло, просто вышло из книги и превратилось в запахи, в звуки, в капель, в кленовый сок… Живое слово получилось и кинематографически верное. Все эти белочки, все эти дятлы, все эти слёзки дедушкины. Я ни разу не читала и не слышала даже, чтобы дедушка по-матерински верно чувствовал младенца. Мне казалось: мужчины — немножечко отстранённые, немножечко другие. И ещё у него материнское сердце. Николай Павлович, рядом с Вами невольно будешь действительно крылатым!*

Когда близко чувствуешь, любишь, все препятствия исчезают, и открывается взору другая душа — душа любимого человека: матери, дочери, внучонка. В этом и загадка, и главное сокровище нашей жизни — способность любить, «способность зрить голубей». В стихотворении о самом Флёрушке соединяется вся семья Вороновых, включая его первую, горячо любимую жену Татьяну Петровну (её не стало в 1992 году).

Флёрушка, Флёрушка
Легче пёрышка.
Флёрушка, Флёрушка —
Росток вещего зёрнышка.
Глазки, как в сказке:

[5] Приговорённый Флёрушка. Магнитогорск, 2008.

Небесно-синие,
От маминой ласки
Нежно-красивые.
Флёрушка, Флёрушка —
От отца задорушка,
Облик бабы Тани,
Думы тайны-тайны…



Елена Евгеньевна, вторая жена Николая Павловича и его нынешний заместитель по журналу «Вестник российской литературы», поэтесса, кандидат наук, о «Приговорённом Флёрушке» думает схоже: *Господи, сколько любви в этом языке! «Записки Деда» — вот этого Деда! Кстати, Валентин Романов, ректор нашего университета, называет Николая Павловича Космическим Дедом! Всегда спрашивает: «Ну, как там наш Космический Дед?». Раньше не отзывалось в сердце, что это обозначает, но когда я стала читать «Флёрушку», поняла — это высшее детское начало в самом Деде откликается на внука: «Санёка-Красивёка-Ёка…», на всю семью. Читаешь, и открывается сам Воронов — божественное дитя планеты и высшее начертание Деда.*

Созерцание ребёнка отмечает Николай Павлович. Он всматривается и видит, как ребёнок, младенец, впитывает в себя всё и слышит: *Лицо Сани менялось, покамест я рассказывал ему о прабабушке Мареюшке, о прапрадедушке Иване Петровиче, о Лебедях и сизятниках… Мечтала Мареюшка о белых турманах, и выражение надежды озаряло его личико. Она полагалась на поддержку тятеньки, и ему верилось — поможет. В общем, всё то, о чём переживала Мареюшка, отражалось в душе малютки и обнаруживало себя свечением смежённых глаз, притемнением, набеганием складочек беспокойства. А там, где на месте третьего глаза круглился холмик, просматривалась такая иллюминация лучей и тени, что ты переставал думать, что рассказываемое для Сани не миражно, а видимо в подробностях цвета, формы, природных видов. И среди всего этого была самой бессомненной способность младенца зрить голубей, не исходя из собственной памяти (их ему не привелось наблюдать), а благодаря памяти околоземицы, нераздельность с коей изумительно сообщалась мне от внука. Через это сочувствование выражало себя в нём и во мне отнюдь не родовое, не кармическое, не национальное, не географическое, а вселенски-божественное…*

«Способность зрить голубей» — ведь это про самого Николая Воронова, об особенном, богатырски-нежном, любовном и правдивом восприятии мира. Так мать любит ребёнка: хочет, чтобы вырос честным и добрым, наставляет, учит уму-разуму. Но и холит, лелеет, любуется им. Дети, подрастая, услышав дорогие нам песни и стихи, читая «наши» книги, прорастают в эти стихи и книги… И молодые люди, постоянно слыша родное нам, проникаются этой любовью. Ради этого, наверное, и стоит всё затевать, стоит жить.

И ни грубостей, ни жалостей, от которых ревмя ревёшь. И ласковый не от горя или счастья. От доброты… — вот и эти строчки, из повести «Мальчик, полюбивший слона»[6], тоже про самое главное. Вновь для Николая Павловича первопричиной детской радости выходит доброта.

Вспоминается его повесть «Голубиная охота»[7]: *…Тогда я жил с постоянным чувством счастья… Вспоминал о матери. Для меня никто и ничто ни в чём не могло быть равнозначно ей. Если бы мне отдали все голубятни и конные дворы города, а для защиты приставили борцов Госцирка, лишь бы я согласился жить порознь с матерью, то я, сколько бы ни уговаривали, не пошёл бы на это…*

Вот что вспоминает на вечере о своём детстве сам писатель: *Я очень нехороший был мальчишка, барачный. Курил на уроках, стрелял в руки педагогам пульками, на второй год меня оставили, даже в седьмом классе два года сидел. Но после окончания седьмого пошёл в девятый. Меня научил математике — писал на земле, на песке — Лев Зарецкий, который сейчас живёт в Израиле, мой дружок. Я его защищал от мальчишек, которые били его, — сам побил их… Барачный человек, я подрался с тремя ребятами, пришёл к бабушке и говорю: «Как же так? Это несправедливо! Не по-рыцарски! Надо один на один драться, а на меня они трое, но я их побил». И заплакал. Бабушка говорит: «Не плачь! Отца у тебя нет, мать работает, я тебя защищать не буду — защищайся сам». И эта её формула — «защищайся сам» — очень помогала в жизни. Да, я рано научился защищаться сам.*

Во все времена существовали люди, способные защитить себя и других, не допустить несправедливое, подлое. Они и есть по-настоящему милосердные. Словами Николая Воронова: *Теперь милосердие перекрыто чёрною скудостью в любую даль России. При нашей бедности долететь бы до собственного сердца…*

В 1999 году Академия российской словесности наградила Воронова медалью «Ревнителю просвещения. В память 200-летия со дня рождения А.С. Пушкина». В 2001 году ему было присвоено

[6] Мальчик, полюбивший слона // «Урал» (Свердловск), 1965, № 1.
[7] Голубиная охота. Москва, 1977.

почётное звание академика Академии литературы. Годом позже писатель был участником Всемирного форума поэзии, проходившего в Магнитогорске, а в 2008 году стал почётным доктором Магнитогорского университета.

Николай Воронов — автор более трёх десятков книг. Это и романы, и повести, и сборники рассказов, и циклы стихов. Но что бы он ни писал, в каком бы жанре ни работал, Николай Павлович говорит обо всём, что сам пережил и прочувствовал. Говорит тем языком, который близок и понятен ему и людям. Много было завистников и противников его самобытности, но не разрешил Николай Воронов подрезать крылья самому дорогому — птице своей, крылатой родне!

Его произведения напоминают о близком сердцу голосе природы. Сквозь все тяготы и ненастья прорывается его чистый уральский голос, не боящийся правды, не стыдящийся и трепета любви! Всё — как есть. Как душа живая чувствует. Оживает внутри радость и сила, когда слышишь детский лепет, голос любимой и пение птиц на заре… А значит, и сам человек оживает, душа его пробуждается от настоящего!

В стихотворении Николая Воронова «Желна» во весь голос звучит его могучее, богатырское ликование — любовь к жизни.

…Самка той дышала смолкой,
И щипала смолку нежно.
Птицы замерли и смолкли.
Тишина легла безбрежно.

Я для пробы смолку эту
Ложкой опустил в кувшин.
Аромат на всю планету,
Выше храмов и вершин.

Я отпил глоток. Источник
Той воды на вкус был пресен.
Терпче пряностей восточных —
Вдруг — и звонче волн и песен.

Что предал секрет огласке,
Не сердись, мудрец желна.
Богатырь я, точно в сказке,
От елового вина.

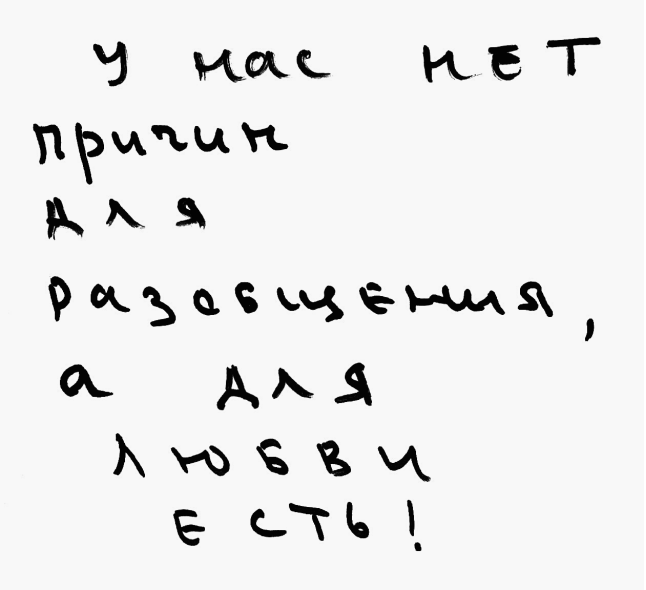
Все гости вечера безошибочно угадывают главное: сила Воронова в — любви! А ещё — в правде, в замечательном языке его, в стремлении сродниться с природой, с детьми, с их «вселенски-божественным» — и этим сохранить себя, своё родное, защититься от скверны.

Моя родня крылатая,
Родня чадолюбивая,
Певучая, пернатая,
В полётах терпеливая.
Родня мне по России,
По золотому хлебу,
По васильковой сини,
По лесу и по небу. […]

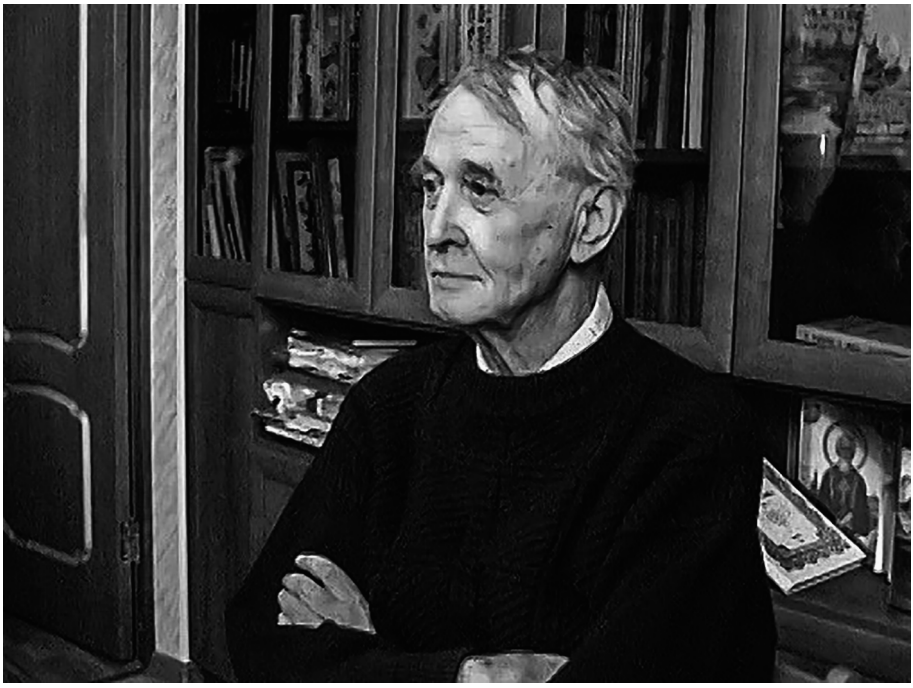
В мороз тебя я помню:
Кормушку грецким крошевом
И семечками полню,
А не охвостьем бросовым.
Родня моя крылатая,
По-русски неунывная.
От витязя оратая
Душой, заботой дивная.

В 2014 году Николая Воронова не стало, и в Литературной гостиной Переделкина теперь уже проходят вечера его памяти. На них собираются те, кому Николай Павлович близок душой. Читают его повести и стихи, рассматривают фотографии, вспоминают дорогое… С этих старых фотографий глядят на нас весёлые глаза человека, влюблённого в жизнь, напоминая о том, как много радости может подарить ощущение счастья от всего сущего. От того, что близко и понятно людям простым, сердечным, искренним. О том, что иногда можно и запеть вместе с птицами, если душа просит!

Светлая память русскому богатырю, Николаю Павловичу Воронову!



14 февраля 2009 года
«Я боюсь двадцать первого века»
Вечер Владимира Кострова*



Было у меня старое стихотворение, одно из первых — потом уже по какой-то западной радиостанции его передавали часто. И вдруг, я смотрю — со мной начинают все знакомые писатели особенно тепло здороваться, да и незнакомые тоже… Оказывается, так передали, что «Костров написал какие-то стихи о России».

Дорога на Родину

Зимний полдень. Дорога лесная.
Морда мерина закуржавелая.
Санки звонкие и синева навесная.
И равнина в снегах — ослепительно белая. […]
Я мечтал вот об этом, стремился вот к этому,
К проливному простору, снегами согретому,

* Текст подготовлен Татьяной Петрикеевой.

К этим северным птицам, летящим на бреющем,
К этой наледи синей на речке темнеющей.
Мы за всё рассчитаемся, люди не бедные.
Серебром разметались снега заповедные.
Ничего не забудем, ни в чём не раскаемся
И со свистом по русской равнине раскатимся.
Забывается всё, что и не забывается,
И сбывается всё, что вообще не сбывается.
Даже мерин и тот на бегу улыбается.
Колокольчик в дуге соловьём заливается.

Не случайно Владимир Костров начинает свой вечер с таких стихов. «Дорога на Родину» поднимает в сердце волну нежности, любви, трепета и — несмотря ни на что — гордости за то, что мы живём в России. Зимы действительно похожи на Россию: довольно часто они такие же суровые, такие же богатые снегом, как в этом стихотворении. Сквозь пронизывающий холод российского пейзажа стихи Владимира Кострова светятся своей неповторимой красой — серебром и золотом нашей несравненной поэзии. *Такое вот телячье немножко стихотворение, но оно выражало мой оптимизм молодости,*— говорит об этом сам поэт, который ещё в юности понял, что не сможет жить без стихов.

Первый снег

Над землёй кружится
первый снег.
На землю ложится
первый снег…
Пишут все —
печатают не всех.
Иногда печатают
не тех. […]
Только есть стихи,
как первый снег.
Чистые,
как белый первый снег!
Есть они у этих
и у тех,
ненаписанные — есть у всех.

Последнее четверостишие так запоминается, так западает в душу, будто всегда было в нас, будто это наши собственные строки! А всё потому, что стихи эти исповедальные — они из тех, из первых стихов Владимира Кострова, которые, появившись на свет, круто изменили его судьбу.

Я окончил химический факультет Московского университета — любил очень химию и не знал, что существует Литературный институт. Будучи ещё студентом, я впервые в мире синтезировал нетритичные алкинометаны с тремя четвертичными атомами углерода. После окончания университета в шестьдесят седьмом году работал инженером на заводе. Там я занимался поляризационными плёнками. Все экраны, которые передают, изображают информатику, держатся на поляризационных плёнках и жидких кристаллах — это и электронные часы, и плоские телевизоры. Я тогда получил два патента. Надо сказать, что они мне помогли в трудные годы…

Когда я учился на химическом факультете МГУ, начал писать стихи и оказался в поле зрения журнала «Юность». Мои первые стихи вышли в 1957 году, а в 1959 году, в сентябре, в «Новом мире» появилась статья, где говорили, что из этого всего что-то получится. И я пытался это оправдывать.

Тогда демократичнее относились к молодёжи, и в 1961 году Степан Петрович Щипачёв пригласил меня в Союз писателей. У меня не было ни одной книги, а в Союз писателей приглашали только очень известных поэтов. Мне дал рекомендации Ярослав Смеляков, к которому я пришёл: «Ярослав Васильевич, вот, мне Степан Петрович сказал, что…». А Смеляков был руководителем секции поэзии. Он сидел в ресторане, выпивал; взял бумажную салфетку и там же, за столом, написал: «Горячо рекомендую в Союз писателей Владимира Кострова, инженера-химика по образованию. Я. Смеляков». Я эту салфетку взял. Потом мне написал его помощник, Юрий Левитанский, который тоже был не против, ещё написал Коля Старшинов… Вот так я и стал членом Союза писателей. Тогда я был самым молодым из них.

Впрочем, творческая судьба поэта берёт своё начало в далёком детстве, прошедшем, по его словам, в глухом углу северовостока Костромской области. Тема ненаглядной и, увы, запустелой деревни, тема щемящей душу, милой природной красоты, что волнует и тревожит каждое русское сердце, нередко проступает в его стихах. Среди воспоминаний детства Володи Кострова — и самые первые книжки, которые, став когда-то будущему поэту друзьями, на всю жизнь остались с ним.

В детстве современных книг не было в наших библиотеках глухих, сельских, поэтому, научившись в пять лет читать, я читал, в основном, классику. Я думаю, это наложило на меня какой-то отпечаток, потому что в дальнейшем я ничего лучшего, пожалуй, не нашёл. Иногда я думаю: мне незачем читать сегодняшнюю литературу, потому что она во многих вещах уступает классике. Я не скажу, что классика не пишется сейчас — классика сейчас создаётся. Классика — это не то, что устарело, а то, что совершенно. Как говорил Борис Пастернак, «талант — единственная новость, которая всегда нова».

Вообще, есть одна вещь, на которой держится человечество и человеческий дух — это художественный образ или метафора. Если мы хотим что-то узнать о духовной жизни человека, понять, как устроен мир, мы должны неизвестное сравнить с известным. Отсюда — великое единство действующей культуры, всеобщее, как мне кажется, единство.

Недалеки от классики теперь и стихи самого Кострова — их можно встретить во многих антологиях, и в России, и за рубежом, а также в переводах. И сам он перевёл два десятка книг с разных языков.

Я не все языки знаю, но особая моя гордость — мои переводы Тютчева. Как известно, часть своих стихов Тютчев писал на французском, и когда Академия наук попросила меня, я перевёл его стихи с французского на русский. Они были признаны лучшими по сравнению с другими переводами, а там были переводы Фета, Брюсова, Соловьёва… И теперь я участвую в тютчевском сборнике.

Когда в ночной тиши лазурью дышит воздух,
Сиянием стихий волнуются сердца,
Вовеки слава вам, божественные звёзды.
Священный ваш огонь да длится без конца!…

***

Мой карандаш! Он слову знает меру,
Являя смысл в аду или в раю.
Из-за него сменил бы дьявол веру,
И ангел душу б погубил свою.

Поэт продолжает давние русские традиции, порой возвращаясь и возвращая читателя в прошлое — в то прошлое, когда цена слову была высока. Поразительна похожесть переводов Кострова на произведения самого Тютчева, и она проявлена любовью, знанием стиля, духовной близостью мастеров. Из стихов Кострова видно, что значит для него Тютчев. Поэт обращается к поэту, надеясь и в наш век сохранить богатство, чистоту лексики, неподражаемое величие русского Слова.

Пламя первой листвы на обугленных сучьях.
Стон последней любви в журавлиных созвучьях.
Русской белой метели сияющий храм.
Не ошибся ли Фёдор Иванович Тютчев,
Завещавший любимую Родину нам? […]
На краю горизонта годов неминучих
Вижу чистый просвет в накопившихся тучах,
Словно вызов грозящим земле временам.

Это он. Это Фёдор Иванович Тютчев,
Луч надежды с небес посылающий нам.

Если мы уберём классику, мы потеряем многое. Читая или слушая тексты в Интернете, наши дети перестанут участвовать в создании полноценных качественных метафор, перестанут быть способными к творению. Это будет колоссальный удар по стране и, в целом, по человечеству. Всё-таки наша страна внесла в культуру человечества огромный вклад. Томас Манн, Кнут Гамсун и целый ряд замечательных людей утверждали, что существуют три великие культурные эпохи: эллинская культура с прилегающей к ней латинской культурой, дальше Ренессанс, Возрождение, и — Великая Русская Литература! Вот это нам нужно помнить, потому что мы — её наследники.

Вот так, наверное, как в тот вечер в Литературной гостиной, слушают профессора Литинститута Владимира Кострова и его студенты, вспоминают его стихи памяти Владимира Соколова (*Я ему на тот свет написал… Он замечательный, удивительный поэт. Я мог бы лекцию о нём прочесть):*

Ты сказал, что от страшного века устал.
И ушёл, и писать, и дышать перестал.
Мне пока помогает аптека.
Тяжело просыпаюсь, грущу и смеюсь,
Но тебе-то признаюсь: я очень боюсь,
Да, боюсь двадцать первого века…

«Я устал от двадцатого века, / От его окровавленных рек. / И не надо мне прав человека, / Я давно уже не человек…» — так начинается стихотворение Владимира Соколова. И Костров неспроста ему вторит. Читая и слушая Кострова, понимаешь — для него важно сохранить чувство Родины в людях. А без памяти и любви к настоящей литературе и культуре это невозможно. Главное в этой любви и в этих стихах — вера в то, что «Россия вспрянет ото сна…» и что благодаря её удивительному духу, благодаря её самородкам нас так просто не победить.

Я в юности очень любил Вознесенского, Евтушенко и Беллу Ахмадулину. У меня были дружеские отношения с ними, но мне было интересно и другое направление. Мне был интересен Хомяков. Почему? Я не знаю, но у нас вот это чувство Родины… Иногда она нас огорчает. Хотя, в общем-то, это не Родина огорчает нас.

Меня очень интересовали славянофилы, я их не знал тогда. Нам этого не преподавали ни в школе, ни в университете. И, тем не менее, были какие-то великие стихотворения. Например, Жемчужников — вроде, что за поэт такой? «Здесь, под небом чужим, я как гость

нежеланный…» Это же великое стихотворение и великая песня! И когда я её слышу, я начинаю плакать — вот такое чувство Родины. Академик Гинзбург говорит, что у человека нет души. Он замечательный учёный, но я ему не верю, потому что знаю — у меня душа есть. Иначе — почему я плачу от таких стихов? Чувство Родины присуще мне и, может, оно органически присуще людям так же, как и диссидентство.

Я выхожу из леса и… ни с места.
И страх и боль не бередят меня.
В черёмуховом платье, как невеста,
Стоит деревня в жарком свете дня. […]
И солнышко на небе златооко,
И дышится привольно и легко.
И прошлое, как будто недалёко.
И будущее так недалеко.
Не осуждайте бедного поэта,
Что он остановился на пути.
Жизнь прожита. Горит Господне лето.
Осталось только поле перейти.

Это, конечно, о Переделкине, своего рода перекличка с Борисом Пастернаком — здесь всё дышит полной грудью, живёт, как в его вечных стихах. Красота природы так близка русскому сердцу, что поэт радуется и спасается ею! И боль на время отступает, остаётся только восхищение.

Пастернак для Владимира Кострова — это «роскошь поэзии». Есть у Кострова такая строка: «Не трогайте жанр, излучающий жар…» — об этом как раз. Вот почему Владимир Андреевич не может удержаться, когда его спрашивают о постмодернизме и о его отношении к этому направлению в литературе.

У них лексика и синтаксис грязные. Ведь само слово какое — поэзия! Поэзия — гармония, поэзия — высота! Что-то вопрос идеала у постмодернистов не стоит. Они возникают, потом исчезают. Они возникали и в начале девятнадцатого века, и в начале двадцатого. Я не вижу необходимости в такой лексике, в этих словах… Я лучше вам прочитаю своё, как написали американцы, эротическое стихотворение. Оно вовсе не нуждается в другой лексике, мы же всё-таки какой-то шаг сделали от животных.

…Рыдает выпь — глухая птица…
Не муж законный, не жених,
спешу последний раз напиться
из окаянных глаз твоих.
Не родниковой, первородной,

а полной страсти и беды,
той подколодной, приворотной,
почти бессовестной воды.
Наперекор стыду и страху
я у судьбы любовь краду.
В твои колени, как на плаху,
седую голову кладу. […]
Но так прекрасно, так отважно
тобой душа моя больна.
Какая ночь!
Какая жажда!
Какая полная луна!

Мне кажется, что поэзия переживает постмодернистский момент. Но вообще, если нет романтической струи, нет и постмодернизма. Он может существовать только в том случае, если существует вот эта борьба с реализмом. В этом смысле, он, как болезнь, полезен организму: организм борется и что-то там ещё вырабатывает. А сам по себе, на мой взгляд, постмодернизм ничего не создал. Вовсе не значит, что он не должен существовать. Но он должен знать своё место, не должен просто объявлять себя. Постмодернисты ещё и всё другое отметают напрочь. Сколько лет сбрасывали Пушкина с корабля современности — и где сбрасыватели сейчас?… Смешно. Только этим они и известны.

Машина времени!… Снимаешь с полки книжку, скажем, Пушкина, — и ты там живёшь уже, в этом времени! А если ещё воображение хорошее, это всё воспринимаешь, как своё. Гегель говорил, что поэзия — это высшее искусство духа. Лермонтов ещё короче сказал, о Пушкине, но не менее удивительно: «Невольник чести». Это высшая экономия средств, если хотите. «Духовной жаждою томим» — это невозможно вообще! Я всегда вздрагиваю, когда такое читаю. Что тут рассуждать о свободе? Поэзия — самый несвободный жанр в этом смысле, потому что она реализует высшие предметы. Точность в поэзии, и лексическая, и смысловая, требуется тоже очень высокая.

Конечно, меня интересовал ещё целый ряд поэтов разных направлений, разных культурных уровней. Поэт не обязательно должен в Гарвардском университете учиться. Поэзия исследует нечто, что всегда при себе — человеческий дух. С этой точки зрения я и смотрю на стихи. Для меня громкое имя — не главное. Простой пример: «Мне мечта не обуза. Я мечтаю порой / Вдруг запеть, как Карузо, / В электричке ночной…». Это Боря Рахманин.

И целый ряд поэтов живут во мне и являются, на мой взгляд, именно классиками, потому что они совершенны. В своем роде, в своем жанре они совершенны.

Владимир Костров рассказывает, что сам он начинал тоже с песен: «С тобой мы идём по вечерней Москве…». *Тогда вся студенческая Москва пела.* С тех пор на стихи поэта написаны песни многими известными композиторами, среди которых Вано Мурадели, Александра Пахмутова, Лора Квинт. Его стихи поёт Кубанский казачий народный хор, Уральский народный хор, Сибирский народный хор. Среди исполнителей песен — Сергей Захаров, Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова, Анатолий Папанов… На вечере поэт напоминает гостям иронические стихи, которые пел Валерий Леонтьев в опере «Джордано»:

Без глупости, увы, нам не прожить и дня.
Мир вертится на ней, почти как на шарнире.
Но всё-таки, друзья, в забавном нашем мире
Количество ослов — загадка для меня. […]

И надобно иметь ослиное терпенье,
Чтоб меж ослами жить, себя не уроня.
Количество ослов — загадка для меня,
Но качество ослов приводит в восхищенье.

Любые стихотворения — это этические вещи. Как они взаимодействуют, очень сложно сказать. Но существует такая атмосфера этического ожидания, момент коллективного действия народа. Народ ждёт слов, которые бы помогали ему преодолевать сложную трагическую жизнь. Если мы не скажем эти слова, мы не выполним свою функцию… Почему Евтушенко и Вознесенского читали в шестидесятые годы просто взахлёб? У народа было этическое ожидание: «…он встанет, узнанный, над миром и скажет новые слова…». Сейчас другое положение: народ — прежде всего, те, кто думает и сострадает, — не хочет этой культуры.

Но вот мы ездили в Иркутск. Замечательные были вечера, наполненные залы — народ не уходил по три часа! Я, видимо, попал в старости, как и в юности, в это этическое ожидание. Людям нужна глубокая, выживающая правда, и я думаю, они её получат, потому что много есть талантливых людей. Много! Я последнюю «Литературку» открыл, и там рядом с огромной подборкой Евтушенко — какая-то девочка из Рязани, двадцать два года, а стихи ничуть не хуже.

В определённом смысле у меня накопилось некоторое раздражение по отношению к тем людям, которые пишут в столице. Они объявляют себя Россией, будто они и есть высшее наше достижение. Во многом они были замечательно талантливыми, я не скрою. Я рассчитывал, что они станут поэтами России, и они себя так представляли. Но посмотрите: началась Перестройка, люди потеряли и зарплаты, и пенсии, и всё… Начался голод, убийства. Но эти люди

неким образом приняли буржуазный способ жить, они совершенно не протестовали. И в советское время они метались туда-сюда, а теперь… Попробуй кому-нибудь сказать: «нерусский писатель». Он же сразу захлебнётся! Русский писатель всегда заботится о родном. Как еврейский писатель о евреях должен заботиться, как абхазский писатель должен заботиться о своём народе. Все мы связаны и родовой, и культурной памятью. И всегда Мандельштам говорил о том, что его Родина — это русский язык.

Ещё я почитаю из горьких стихов… Я был в Чечне во время войны. Это, конечно, жутко. Потому что и наши ребята, которые там погибали, и чеченцы — все граждане России.

Не банкира, не детей Арбата,
Не актёра в маске какаду –
Я простого русского солдата
Вижу в телевизорном бреду. […]

Отключаю сникерсы, кроссовки,
Номинаций подлые ходы,
Наглые обжорные тусовки,
Эти бюсты, ляжки и зады… […]

А солдат убит под смех и крики.
Снова бюсты, ляжки, голый зад…
Что ж ты, русский инженер Зворыкин,
Изобрёл проклятый аппарат?

Это стихотворение там, в Чечне, перепечатывалось. И когда я читал, они встали все, и командующий встал, потому что война — общая вина, и чеченцев, и нас.

Весь вечер Владимир Костров читает свои стихи, перемежая чтение размышлениями вслух… Вспоминаются строки Геннадия Шпаликова: «Редеет круг друзей, но — позови, / Давай поговорим, как лицеисты…». Именно такое чувство возникает на вечере — от вопросов и тем, которые поднимаются, от самого поэтического слова.

Один графоман
в солидный журнал
прислал корявый стишок.
Совсем таланта не было в нём,
И стиль был весьма смешон.
Но чтобы вывод под стих подвесть,
В нём были такие слова:
«Жизнь такова, какова она есть,

И больше — никакова!» […]
Редактор отдела, увидев стих,
Наморщил высокий лоб:
— Стихи банальные. Автор псих.
А младший редактор жлоб.
Но строчки вошли, как благая весть,
до самого естества.
«Жизнь такова, какова она есть,
и больше — никакова!»
И, свой кабинет озирая весь,
подумал любимец богов:
«А может, и я таков, как есть,
И больше совсем никаков».
И страшная мысль, как роса с травы,
Скатилась с его головы:
«А может, и все таковы, каковы,
И больше — никаковы?»

Замечательную афористичность поэзии Владимира Кострова отмечают многие. Поэт честен и меток, он не стесняется никаких своих стихов, не зачёркивает их в угоду времени или чему-то ещё. Не идёт против себя.

У меня накипело, что слишком просто наших литераторов купить, например, на премию «Триумф». А ведь премию «Триумф» не получишь, если не будешь в оппозиции к русской культуре. Это не значит, что так не должно быть, но у либералов, у тех, кто себя либералами представляет, есть одно нехорошее качество — в культуре исключается иная точка зрения из средств массовой информации. Чёрные списки ведь существуют.

Самое тяжёлое — не цензура как таковая, а цензура личности. Когда оценивают не то, что ты пишешь, а то, к какому ты клану принадлежишь. Многим нашим товарищам стоит задуматься, потому что память о себе все хотят оставить хорошую. Непонимание этого момента даже очень талантливым людям вредит. Это моё ощущение.

На Пушкина обрушились за стихотворение «Клеветникам России» — за то, что он не поддержал восстания в Польше. Есть какие-то вещи, которые не укладываются в прокрустово ложе ни одного сознания! Мы друг с друга должны спрашивать по большому счёту, должны спрашивать по чести.

Самый тяжёлый момент Россия переживала в девяностые. До распада оставалось совсем немного, а этот распад мог закончиться мировым кризисом, потому что за ядерным оружием сидели люди, готовые в случае чего… Тогда я чувствовал себя в отчаянии, как многие, конечно.

У нас во дворе — первого марта, как сейчас помню, — помирал один бомж на скамейке, а в этот же день был убит известный телекомментатор, Влад Листьев. Я написал эпитафии:

…Господа! Не надо строить храмы
И держать плакучую свечу.
Сварен суп. Пора делить приварок.
Падает, как саван, свежий снег.
Дворик спит. А возле иномарок
Умирает русский человек.

***

…Когда сольётся это месиво?
Отступит тень?
Вас убивают раз в полмесяца,
Нас — каждый день.
Без «мерседесов», и без долларов,
И без зарплат.
Мы люди глупые и добрые.

До встречи, Влад!

Почему-то телевидение очень на это отреагировало: «Человеку с такой жуткой фамилией, Костров…». Я велел им передать, что всё равно останусь русским поэтом.

Кроме стихов-боли о России, поэт много пишет о любви, и на вечере прозвучало несколько таких произведений. Но у него и любовная лирика вся — через правду жизни, через страдание. Один из самых объёмных сборников стихов Владимира Кострова называется: «Если любишь…». Именно в любви поэт видит спасение.

А тебе и невдомёк,
что ты значишь,
друг сердечный.
Ты — мой красный уголёк,
вылетающий из печки.
За стеною волчий плач,
за стеною Ламский волок.
мир нечаян и горяч,
век случаен и недолог. […]
Деревенская изба —
красный угол — чёрный угол.
А в печи горит судьба —
Красный уголь — чёрный уголь.

Память выбирает то, что человеку близко. А близко ведь то, что не чуждо жизни! Чуждое память беспощадно отметает. В детстве человек ещё не научен врать, потому и повторяет знакомые строчки — не стараясь запомнить специально, а просто потому, что нравятся! Пустое же и скучное малыш не понимает, пропускает мимо ушей. Поэты — подобно старикам и детям — верны природному чутью. И в этой природной простоте воплощены любовь, понимание и… страх потери самого дорогого. У Владимира Кострова именно так: про любовь и про Родину, про то, дороже чего нет на свете, про то, что страшнее всего потерять. И в каждом его лирическом стихотворении сквозь боль — надежда утешиться самой любовью.

Полон взгляд тихой боли и страха.
Что тебе я могу обещать?
На пространстве всеобщего краха
Обещаю любить и прощать.
Всей судьбою своей окаянной
Обещаю не прятать лица.
Обещаю любить постоянно,
Обещаю прощать до конца…

Отрадно, читая стихи, чувствовать, что они свободны, а не на привязи. Но свобода бывает разная, и это не постмодернистская «свобода» выражения. Величайшее мастерство в том и состоит, чтобы сказать во весь голос, горячо — но и достойно — о том, что волнует. Вот, где настоящая свобода! Живые и простые слова, сочетаясь, рождают высокий и гордый слог — этим и сильна поэзия.

Стихи Владимира Кострова, особенно о России, никогда не были весёлыми. Да, в них всегда живёт надежда, но присутствует и тревога, размышления о настоящем и будущем. Поэт не обманывает нас, и сам не обманывается:

Не поминать о нашей старине?
Не горевать и не грустить об этом?
В измученной реформами стране
Неможно беспечальным быть поэтом. […]

Вот и свой вечер заканчивает поэт грустными стихами, вспоминая, как шутил про него Андрей Вознесенский: «Если пьянка, так с Костровым, в славном городе Орле!…».

…Подавай капустку на закуску,
Пьяно с поцелуями не лезь.
Тост прощальный будет за искусство,
За вторую русскую болезнь. […]

И покуда нас не онемечат,
Я по жизни ставлю наперёд
Слово, что и мучает и лечит,
Звук, который за душу берёт.

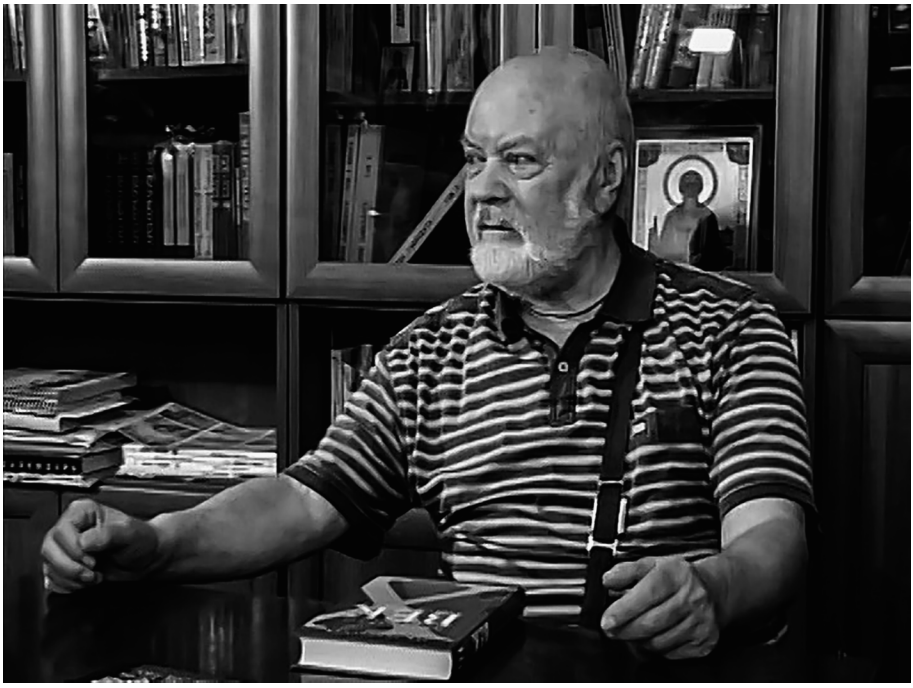
За последней соловьиной трелью
С песней от села и до села
Мы уходим. Тяжело похмелье.
Жизнь была хмельна и весела!

В этих стихах сошлись любовь к жизни, горькая правда и непоколебимая надежда на память поколений, на духовную жажду молодых, на рождение новых настоящих поэтов. Автор верит, что молодые захотят прочитать, прочувствовать, запомнить слог, благородство, величие и высоту русской поэзии. Что они постараются не нарушить эти традиции. Недаром Владимир Костров сказал на вечере: *Выше звания, чем русский поэт, я не знаю.*

…Я почти не бываю у близких могил,
Но друзей и родных я в душе не избыл.
Мне они, как Афон или Мекка.
Я боюсь, чтобы завтра не прервалась
Меж живыми и мёртвыми вечная связь,
Я боюсь двадцать первого века.

08 июня 2013 года

«Я выбрал русскость в казачьем варианте»
Вечер Льва Аннинского*



[О родословной]

Вообще, главное, что я написал, — это моё родословие.

Одна из моих казачьих тёток, Мария Ивановна Иванова, как-то говорит мне: «А ты знаешь, что мой отец — твой дед — написал историю нашего рода?» — «Нет, Маш, не знаю». Дед наш перед смертью падающим учительским почерком всё перечислил. Тётка передала мне его записи, а я отдал в типографию — четыре печатных листа получилось.

Я понимал, что искал отдушину, но сам себе сказал: если бы Саша не погиб (я никогда отца «отцом» не называл; звал «батей», звал «Сашей» — он сам так хотел), он бы написал продолжение дедова манускрипта, про наш род казаков Ивановых.

---

* Льва Александровича Аннинского не стало 6 ноября 2019 года, во время подготовки этого очерка к печати. ¶ Текст подготовлен Галиной Ниловой и Анной Бобровской-Лениной при участии Натальи Павлюк.

Ещё прадед мой брал Шипку. А дед был расказачен, стал учителем в станице Новоаннинская. По названию станицы мой отец и взял себе псевдоним.

У деда было четыре сына и две дочки. Старший стал учителем. Второй сын попал к белым, воевал, был командиром белого бронепоезда, командиром башни на линкоре «Воля», несколько лет провёл в Болгарии, там «покраснел». В двадцать шестом году вернулся, отсидел, потом его помиловал Калинин. Это — Иван Иванович Иванов. Александр Иванович — это мой отец. Михаил Иванович — ещё один мой дядя. Два красных казака, которых из-за Ивана Ивановича без конца вышибали из партии и из комсомола.

Спасло их и моего деда следующее. Шолохов писал письма Сталину о положении на Дону, репрессиях, раскулачивании. Сталин написал «Головокружение от успехов», и там был абзац: «В станице Новоаннинской дошло до того, что раскулачили бывшего станичного учителя»[1]. Мишка с Сашкой эту статью вырезали, побежали к отцу — он к тому времени перебрался к старшему сыну, был кассиром в фотоателье. Они у него повесили на стенку эту статью, выделили красным этот абзац, и от моего деда отстали. Дед в 1939 году спокойно помер. Иван Иванович дожил до глубокой старости, рассказал мне, что успел. А красные пошли, погибли за Родину; их вдовы, еврейки, воспитали полукровок, таких как я и двоюродный брат — он был физиком, лауреатом премий.

Отца я в семь лет потерял, но выяснил всё о его судьбе много лет спустя. Он не просто погиб за Родину. Единственное письмо от него пришло из-под Великих Лук в 1941 году, и там он писал: «Какие хорошие ребята подобрались». Он был политрук и ехал на фронт не воевать, а читать Маяковского солдатам! После этого — никаких вестей. Потом я узнал, что они попали под налёт юнкерсов.

Один из тех «ребят» вернулся, без ноги. Я его разыскал: «Куда делся мой батя?» — «Неизвестно, куда делся». Они шли на Невель лесами — в Невеле маршал Андрей Ерёменко собирал распавшиеся части. «Мы день шли, два шли, а потом нарвались на минное поле. Я пошёл в разведку, вернулся. Куча трупов. Саши там не было. Сашка куда-то исчез». — «Что за минное поле?» —

[1] В статье Сталина «Головокружение от успехов» («Правда» № 60, 2 марта 1930) дословно эта фраза не встречается. Пятнадцатого марта того же года было принято Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении», в котором ЦК обязывал партийные организации «проверить списки раскулаченных и лишённых избирательных прав и немедля исправить допущенные в этой области ошибки в отношении середняков, бывших красных партизан и членов семейств сельских учителей и учительниц, красноармейцев и краснофлотцев…» (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 825. Л. 93–96, 97–109; см. также «Политбюро и крестьянство: Высылка, спецпоселение. 1930–1940 гг.». Книга I. М.: РОССПЭН, 2005. С. 154–158). — *Здесь и далее прим. ред.*

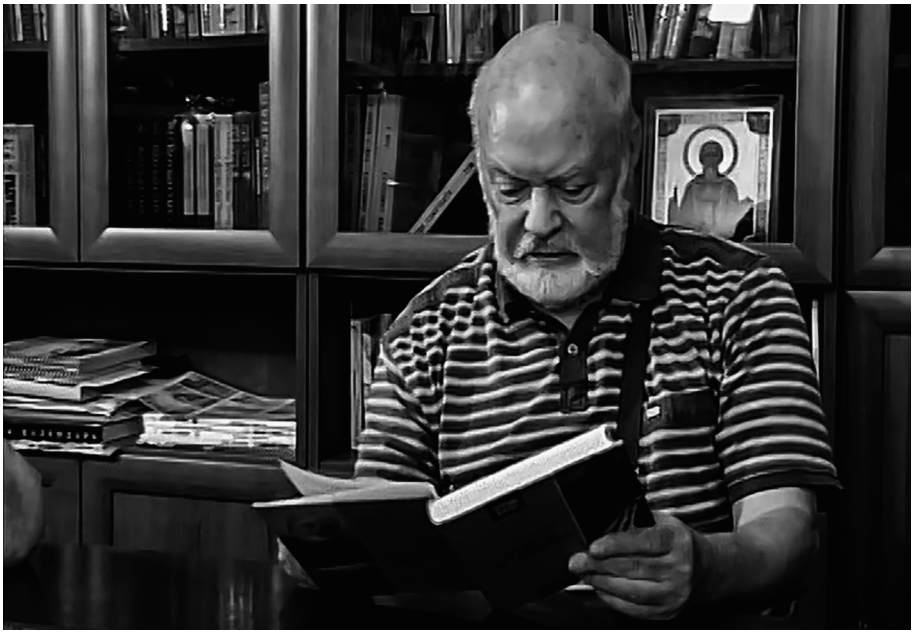
«Да наше минное поле! Они на наше минное поле нарвались». Такая война была безумная.

Куда же он делся?

Я пошёл пешком до Невеля, через все эти деревни, и везде спрашивал: какого числа немцы пришли? Я понял, где было это наше минное поле, где всё это произошло.

Как выяснилось позже, отец был расстрелян немцами в 1942 году.

Потом я только и бредил тем, что должен написать от имени отца про его жизнь. Но как написать, если мне было семь лет, когда он исчез? Кого расспросить? Жена посоветовала: «Евреек расспроси, которые при нём были». Я начал расспрашивать мать и двух тёток. Расспрашивал около полугода, потом соединил это вместе, получился первый том — *«Три дочери Залмана»*. Когда я это закончил, я про отца знал почти столько, сколько он сам хотел о себе знать. Я вытряс всё, что мог, откуда угодно. Это была не работа, у меня было состояние человека, который воскрешает умершего! Всего три тома получилось — лучшее, что я сделал.



Я нашёл типографию, где для меня это напечатали. Я тогда комментировал Георгия Владимова для издательства «Вагриус»[2]. Меня спросили: «Что вы ещё делаете?» — «Вот, только что кончил книжку об отце». — «А посмотреть можно?». Редактор взяла мои

[2] Видимо, речь идёт о книге Георгия Владимова «Долог путь до Типперэри» (2005), в которую включена переписка Владимова и Аннинского, а также послесловие последнего.

книжки прочитать, все три тома, и спросила: «Хотите издать? Только в один том уложитесь». Я убрал что-то, дневники сократил. Они напечатали *«Жизнь Иванова»* тиражом четыре тысячи экземпляров, и книга разошлась.

Моя жена говорит: «Еврейскую книгу ты издал, донской казак тоже описан. Но ты это для наших дочерей делаешь. Ты не находишь, что наши дочери — немножко и мои тоже?». Я начал выяснять, кто моя жена. Выяснилось, что они русские из Карачево, что они однодворцы, то есть дворяне. Её дедушка был главным судьёй в городе Орёл. Я всё у неё вызнал, написал и от её имени историю. Здоровенный том! Потом наши с ней дневники…

Это целая полка книг у меня — тринадцать томов! Три отцовских, один еврейский, один русский, Карачевский, три моих, два — дневников жены и один наш общий. И в память о жене — ещё двухтомник. Но издана только *«Жизнь Иванова»*. Остальное напечатано тиражом пятьдесят-шестьдесят экземпляров. Хотят люди — пусть читают!

[О поколениях]

В шестьдесят втором году мне предложили подать заявление в Союз писателей. Никогда в жизни сам бы я не подал — я считал, что это нескромно. И вдруг мне говорят, что звонили из приёмной комиссии и нужны три рекомендации!

Одну рекомендацию дал мне критик Александр Николаевич Макаров, с которым я познакомился, когда уже работал в журнале «Знамя» (Макаров курировал, а я редактировал). Я там начинал, печатал маленькие рецензии и большие статьи. Вторую дала Евгения Фёдоровна Книпович, знаменитейшая тогда восьмидесятилетняя красавица. Она была последней любовью Блока и великолепным марксистски подкованным критиком.

Третьим оказался Борис Абрамович Слуцкий. «Вы должны написать книгу о послесталинском поколении», — велел он мне. «Слушаюсь», — мысленно ответил я и сказал, что постараюсь. Я тогда занимался только своим поколением: Евтушенко, Рождественским, Ахмадулиной, Вознесенским. А это было крамолой: «Какое поколение?! Советскими людьми надо быть, а не поколения считать!». А я считал. Ближе всего мне были поэты Владимир Соколов и Владимир Корнилов. Из прозаиков — Георгий Владимов.

Итак, стал я склёпывать свою книжку из статей о «послесталинском» поколении… Склеил и думаю, что называть её именно так опасно — опять скажут, что поколения считаю. Но к тому времени я уже выработал целую систему таких притворных вранин: лгать не надо, а врать можно. Где отвести внимание, где подставить что-то… Мне нужно было в книге это «послесталинское» поколение как-то замаскировать, хотя бы для начала. У Толстого

есть такое рассуждение: «Любовь не менее свята, будет ли её предметом Кукин или Спиноза». Я тут же вцепился в Толстого, впихнул в начало эту фразу и написал: «Я, конечно, не хочу сказать, что больше люблю моё поколение, чем поколение Павки Корчагина…». И всё, закамуфлировал!

И название *«Ядро ореха»* придумал для отвода глаз. У Дмитрия Писарева сказано: «Нужно различать шелуху и ядро». А у Владимира Корнилова: «А те, кто в сердце не имели Бога, раскалывались, как пустой орех». Этого достаточно, чтобы закрутить всё и отвлечь.

Сделал, отнёс в издательство «Советский писатель» Борису Ивановичу Соловьёву. Это был шестьдесят пятый год. Через пару недель мне сказали, что принято решение: книга не марксистская, объективистская, субъективистская, ещё какая-то. И всё правильно, она такая и была. Книгу мне вернули.

Я погрустил, подумал, что недомаскировал. Ни Толстой, ни Кукин, ни Спиноза не спасли — четвёртое поколение так и торчит. Кто-то сказал: вот первое поколение брало Зимний, второе строило ДнепроГЭС, третье воевало на фронтах, а мы — четвёртое поколение; мы не воевали, но вопим, что любим советскую власть.

И тут Евгения Фёдоровна Книпович, которая работала в этом же издательстве, сказала Борису Ивановичу, что сама отредактирует мою книжку. Он развёл руками, отдал её. Евгения Фёдоровна произнесла фразу, которую я сто раз потом повторял: «Лёвушка, вы поймите, дело не в поколениях, дело в дураках!». Мне это так понравилось, что я книжку отредактировал с её помощью. И книга вышла. А потом забылась.

Через пару десятков лет мне пришла в голову мысль её переиздать. Я взял эту книжку и написал комментарии, где всё объясняю. Вот тут — вы видите? — я отвлекаю внимание от такого-то слова, а вот тут — от такого-то имени. Получается учебник эзопова языка или учебник тогдашних хитростей. Это первый том, новая книга, но с тем же старым названием: *«Ядро ореха»*.

Во второй том — *«Распад ядра»* — я вставил то, что писал об авторах той же эпохи, но двадцать пять лет спустя. Тут — всё, что я думаю о моём поколении. Оно уже сейчас умирает, средний возраст — восемьдесят лет. Классиков поэзии уже нет; Ахмадулина, кажется, последняя была. Жив ещё Геннадий Русаков, очень сильный поэт. Ещё Дмитрий Сухарев. Теперь ясно, что мы такое: воевать не поспели, а в Сталина успели поверить. Мы были последним поколением, поверившим в эти химеры и не решившимся отказаться. После нас — распад этих химер.

А вот книга *«Красный век»*. С чего всё началось? Пришла мне в голову идея, что на великих поэтах лучше всего видна диалектика перемен — страшных, трагических, безысходных. Но как

выделять великих поэтов? Как вообще в этом огромном месиве стихов найти какую-то динамику?

Для начала надо всё это гигантское содружество пишущих разделить на поколения, так легче динамику прослеживать. Как поколения отделять одно от другого? Я рассуждал так: женщина рожает лет в двадцать пять, ну в тридцать. Значит, нужно ждать двадцать пять или тридцать лет, чтобы сменилось поколение? Нет, она рожает через поколение. Пока её дети подрастут, уже вступят в жизнь те, которые между. То есть нужно уменьшить этот шаг — не тридцать, а пятнадцать лет. А лучше всего — двенадцать-тринадцать.

Каким образом отмеривается вот этот шаг поколений? 1801 год, «дней Александровых прекрасное начало». Прибавили двенадцать — Наполеон пришёл нас экзаменовать; ещё двенадцать — 1825 год, опять экзаменуют; ещё прибавили — Пушкина убили; и если прибавлять дальше, то потом и освобождение крестьян подступит…

Дальше я решил по смене поколений следить за переменами в великой поэзии XX века в России. Я уже знал, что великая культура рождается из великих страданий. Во всех остальных случаях рождается великое удовлетворение потребностей. А если действительно безысходное страдание, тогда — великая культура. Мне нужно было понять, на ком это видно.

Каким образом среди всех пишущих найти тех, кого можно рассматривать в этом смысле как великих поэтов? Дело не в том, кто лучше пишет стихи. Фет писал похуже, чем Пушкин. Лермонтов — тоже не самый чистый вариант стихосложения… Великий поэт — тот, в чьей судьбе переламывается история через его душу. Я даже такую формулу себе выдумал: если обычный поэт пишет то, что ожидаемо людьми, ставит те вопросы, на которые известны ответы, то великий поэт ставит вопросы, на которые никто не знает ответа. Я стал выделять по двенадцать таких поэтов в каждом поколении.

Первое поколение было пробуждено Цусимой: Блок, Клюев, Гумилёв и в конце — Есенин. *«Серебро и чернь»*, так я их назвал. Они вошли в первый том: двенадцать очерков о великих поэтах начала XX века.

Следующее поколение — начало советской классики, от Эдуарда Багрицкого до Леонида Мартынова. Тоже двенадцать. Эту главу я назвал *«Медные трубы»*.

Потом — поколение тупиковое. Они хотели при коммунизме жить, а вместо этого угодили в Великую Отечественную войну, в гибель. Там Твардовский, Симонов. Это — *«Засадный полк»*.

Дальше — поколение Окуджавы, Луконина, Межирова, которое попало на фронт умирать, и немедленно. Это поколение

знало, что будет убито. Из каждой сотни вернулись трое! Бесконечно близкое мне по сочувствию поколение, самое счастливое поколение из самых обречённых, *«Мальчики державы»*.

Затем поколение моё, *«Последние идеалисты»*.

Следующее — послесталинское, *«Сторожа и дворники»*. Они сказали: что угодно, только не сотрудничать с этой системой, лучше в сторожа и дворники пойдём. Они считали, что система была придумана, чтобы человека задушить. Среди них Олеся Николаева, Светлана Сырнева, Галина Якунина, Юрий Кублановский. Я отвечал: «Система не придумана была, а выработана, потому что война на уничтожение на нас обрушилась». Может, мы виноваты в том, что эта война возникла, может, немцы, может, что-то произошло, и в результате целое поколение должно было жертвовать собой. Цена жуткая, ни один народ столько не платит, чтобы выстоять в войну на уничтожение низших рас.

[О ценностях]

Дальше мне сказали: а почему только поэзия? И я собрал о прозе книжечку *«Родная нетовщина»*, где вся переходная эпоха, всё, что я о ней писал. *«Чаемая печаль»* — первая глава, это девяностые годы: Руслан Киреев, Андрей Битов, Венечка Ерофеев.

Следующая глава — *«Песнь пепси»*. Это все мои статьи по 2003 год. Тут уже Виктор Ерофеев, который написал только одну раздразнившую меня вещь, провокационную, про женщину. К нему я добавил ещё двух очень популярных ныне писателей. Пелевин — самый талантливый из них, только у него всё в наркотики упирается. А Сорокин — тот просто очень хорошо применил экскременты, чтобы соцреализм иначе пах… Всё воспринимается наоборот, и как будто это чистая правда. Он таким методом ещё много чего написал.

В итоге, у всех троих это — своего рода концепция человека в трёх вариантах. Они пишут, как умеют, но, как я когда-то уже говорил, это эпоха такая, когда все ценности спускаются в унитаз.

Вообще, о прозе я довольно много написал того, что потом вошло в следующую книгу[3]. В ней — статья *«Руки творца»*, где я спорю с Солженицыным. Это мне стоило большого внутреннего усилия, потому что я считаю, что Солженицын — великий писатель. Всё, что ему досталось, — на девяносто девять процентов заслужено. И на один процент — от нашей излишней любви. В чём моё главное с ним несогласие? Мне как-то задали вопрос: можно ли

[3] Рука творца: Значительные явления русской прозы за последние 50 лет, 1961–2011. М.: Известия, 2013.

верить Солженицыну в том, как он изобразил лагерные ужасы? Я ответил: можно, если рядом лежит книга Шаламова.

Как считает Варлам Шаламов? Это хорошие люди попали в жуткую ситуацию, где друг другу кишки выпускают? Нет, это всё в природе человека, и никуда от этой природы не деться. Мой отец, уходя на фронт, оставил моей матери «Тихий Дон» с надписью: «Расти сына сталинцем». Она вырастила. Это значит, что я верил во всё. Отказаться от веры в то, что человека можно улучшить, стоило мне больших внутренних потрясений.

Дальше пишу здесь о Гроссмане, чей роман «Жизнь и судьба» я ставлю рядом с «Тихим Доном». У Гроссмана — честный роман, продолжение его соцреалистических попыток понять, что происходило. В результате всех этих объяснений (может быть, против воли) Гроссман устами немца какого-то сказал, что Гитлер и Сталин — это одно и то же.

Я тогда как раз был принят на работу в отдел критики журнала «Знамя», и мне сказали: вот Василий Гроссман, классик. Я поклонился ему, и всё. Он тихо, скромно в уголочке стоял, потом исчез, и вдруг я вижу, как заведующий — критик, который меня взял на работу и был меня на десять лет старше, — что-то судорожно заворачивает в газету, прячет под мышкой и бежит к выходу. Я говорю: «Ой, что это вы несёте?». А он — шасть — и выскочил. Оказывается, он на одну ночь уносил этот роман прочесть.

Я, конечно, тогда ничего не прочёл, но я понял по тому, что происходило, что главный редактор журнала «Знамя» Вадим Кожевников донёс на этот роман в КГБ и сам текст отправил туда. Так что, Суслов получил этот роман совершенно законно. Но он, как человек уже достаточно осторожный, сам решать не стал и привлёк парочку крупных писателей. И они сказали: «Да вы что! Сталин и Гитлер — одно и то же?! Да никогда!». Суслов написал: «Через двести-триста лет напечатаем». Ну и стахановскими методами мы прошли это расстояние за двадцать-тридцать лет.

Тем временем роман был переправлен за границу. Слава Богу, потому что получить обратно экземпляр из Комитета госбезопасности не получилось бы. На счастье Гроссмана, один экземпляр, исправленный, перечёркнутый, он отдал какой-то соседке по даче[4]. Сумка с этим текстом где-то висела, и никто её не искал, а потом с этой рукописью сверяли весь текст, который склеивали из кусков. Чуть ли не сам Сахаров лично фотографировал странички! Переправили текст за границу и там издали. Потом издали в России. И тут уже стали искать: в чём была крамола-то? В том, что Сталин и Гитлер — одно и то же? К тому времени, когда роман

[4] Копию романа сохранил друг Гроссмана — поэт Семён Липкин. В середине 1970-х годов при участии Андрея Сахарова её переправили за границу.

появился, какие воробьи уже только не чирикали, что Сталин и Гитлер — это одно и то же.

А смысл у Гроссмана — совершенно другой, как я его понимаю. Главная его идея охватывается словом «квашня». Это то, из чего делаются потом пироги: всё перемешивается, и не поймёшь, где что. А история из этой квашни выстраивает стальные перила, вдоль которых идут сражающиеся народы и уничтожают друг друга. Жуть из этой квашни получается! Вот идея Гроссмана. Может, лучше в квашне остаться? Нет, в квашне не получится оставаться у человечества, всё равно будет качественное распределение на сражающиеся стороны, на чудовищные, безжалостные, самоубийственные армии, и все — из этой квашни.

Пишу тут и о Феликсе Розинере, очень интересном писателе, сейчас полузабытом, к сожалению. Потом — Фридрих Горенштейн, Виктор Астафьев. У Астафьева я взял повести «Царь-рыба», с элементами внутреннего компромисса (он это и сам понимал), и «Последний поклон», без внутреннего компромисса. Затем — Василий Шукшин.

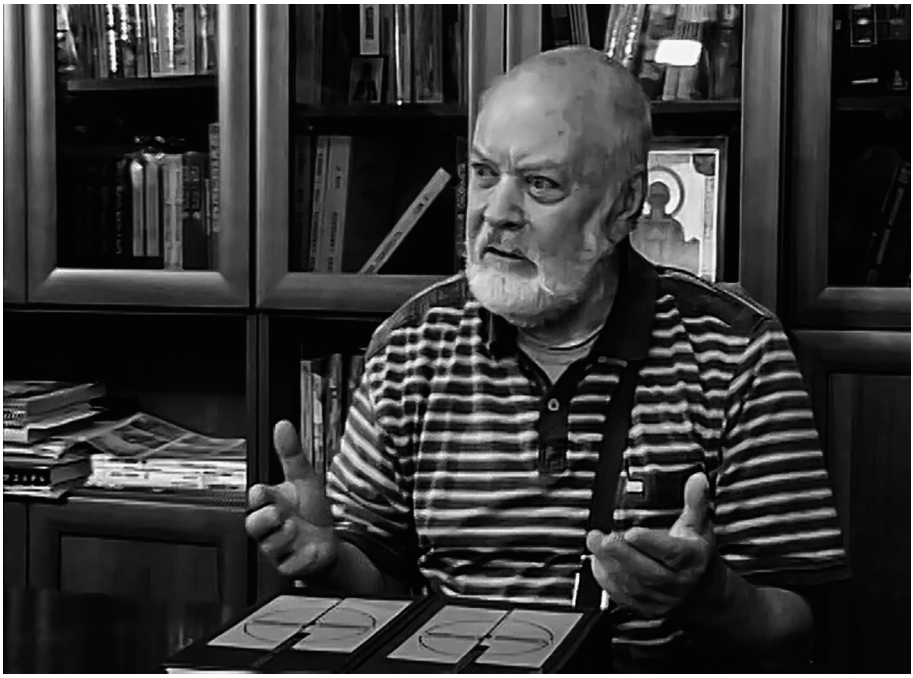
Кстати, о Шукшине у меня была большая работа. Я за ним следил с тех пор, как понял, какой это замечательный артист и режиссёр. У меня есть о нём статья, называется *«Шукшинская жизнь»*. А когда вышла его книжка «Характеры», в журнале «Литературное обозрение» устроили её обсуждение и заказали статьи: Валентину Оскоцкому — ругательную, а мне — хвалебную. Я написал эту статью, и, по-моему, Шукшину о ней доложили. Лично я с ним не был знаком. Я вообще терпеть не могу знакомиться с теми, о ком пишу, — мне мешает знакомство с особью, когда мне интересна личность. Личность — в текстах, а особь мне будет рассказывать, какие премии получит, мне этого не надо.

Появилась моя рецензия на «Характеры», и её поправили, конечно. Главный редактор убрал крамолу. Ну, не в первый раз. У меня-то вычеркнули, а Оскоцкий, который со мной полемизировал, успел это исключённое процитировать, и из его статьи цитату эту забыли убрать.

Вот такие у меня были взаимоотношения с Шукшиным. Он умер через полгода, но у меня засело, что я не всё о нём сказал. Я затем взял всю историю взаимоотношений Шукшина и христианства. Христианства как веры, как церковной службы. А заглавие у меня было такое: *«В три господа бога мать!»* — это из его романа о Разине.

Также пишу о Светлане Алексиевич — поразительной белорусской писательнице, которая через исповеди героинь и героев столько сумела сказать, сколько они сами про себя не понимали и даже она не всегда понимала. Без неё невозможно себе представить восточнославянскую прозу этого времени.

Последняя статья в этой книжке — *«Раненые души и мёртвые тела»*. Я беру самых великих писателей воевавшего поколения — и немецких, и наших — и сравниваю, как воюет немец и как воюет русский. Для них эта великая война — Вторая мировая, Восточный фронт, а для нас — Великая Отечественная. Очень интересный контраст!



Так, например, русский жутко боится предательства, он только и ждёт, что его предадут, всё время ищет, как бы заранее уничтожить того, кто его предаст. Немец предательства не боится в этих прозаических текстах. Ещё меня поразило, что немец, когда пришёл воевать, думает, что здесь — пустая земля. Какие там русские, они сами вымрут… ну, евреев придётся поторопить. Один герой, немец, говорит: «Что-то у меня ощущение такое, будто мы воюем вовсе не со Сталиным, а со Львом Толстым».

В сорок втором году, когда дело было совсем плохо, мелькнула фраза в какой-то статье: «Мы отступаем в “Войну и мир”». Я это тогда запомнил, а потом подумал, что, действительно, немцы взяли Ясную Поляну, но не тронули могилу Толстого, вообще ничего не тронули. Гудериан, генерал-полковник, руководивший наступлением на том направлении, был культурным человеком и понимал, что такое русская культура. Там, конечно, никаких святотатств не было, кроме одного: рядом с могилой Толстого были похоронены немецкие завоеватели, солдаты. Их потом пришлось

эксгумировать и перезахоронить, но, тем не менее, немцы в Ясной Поляне побывали, и офицеры Гудериана вели себя прилично[5].

Потом мы отвоевали обратно эту Ясную Поляну — я переживал эту жуть: столкновение и уничтожение двух великих народов, русских и немцев. До сих пор не могу объяснить, почему это произошло. Но, во всяком случае, я помнил, как немец почувствовал, что он воюет со Львом Толстым. А Лев Толстой — сам кто? Не немец? Фамилия Толстой — откуда? «Дик» — «жирный» по-немецки. Значит, если в XIV веке в Литву приходит на русскую службу немец по фамилии Дик, ему дают фамилию Толстой. И все Толстые происходят от того Дика, в том числе и Лев Николаевич. Софья Андреевна — чистая немка, дочь немецкого доктора. Моё поколение уйдёт с вопросом: почему это всё произошло?

[О любви]

Ещё одна моя книга — *«Эвтерпа в лапах Гименея»*. Когда я писал о воевавшем поколении поэтов, меня поразила любовь, которая случилась у Вероники Тушновой и Александра Яшина. Как эта противозаконная любовь возникла и какие потрясающие стихи остались. Не только «Не отрекаются, любя» — там много чего осталось. У Яшина — «Вологодская свадьба», например. Я подумал: почему именно это ранит — их неосуществившаяся любовь? И ведь нельзя сказать, что кто-то помешал им — они сами себя взяли и скрутили.

Я начал вникать, прочувствовал стихи, написал, соответственно, два очерка. И задумался, почему у великих поэтов не бывает счастливой любви? У меня начали всплывать Есенин, Блок… Кто им всем помешал? С Цветаевой всё началось. Я взял Цветаеву, а у её мужа фамилия Эфрон — и у меня сразу заголовок возник: *«Эфронт Марины Цветаевой»*.

Я тогда понял, что какая-то тема заложена в этих несчастных любовных историях великих поэтов. Есенин и Дункан; Блок, Белый и между ними — Любовь Дмитриевна Менделеева; Гумилёв и Ахматова. И вдруг у меня эти сюжеты вместе сплавились. Потом возникла Нина, моя студентка. Она меня слушала и рисовала моих героев. Книжка вышла с её иллюстрациями.

Почему там нет Маяковского? Его там быть и не могло. Моё отношение к Маяковскому — особая тема. Мой отец, которого я оплакивал всю жизнь, был страстным его поклонником, неистовым пропагандистом. Отец, чтобы привить мне — младенцу! — любовь к Маяковскому, громко читал его стихи. Когда я стал вырастать и узнавать эти стихи, я вдруг почувствовал, что их можно

[5] Существуют различные версии о пребывании немцев в Ясной Поляне и о том, какой ущерб они нанесли усадьбе.

только орать, а не читать. Он убил во мне Маяковского этой своей любовью. Я уши прижимал, когда слышал его ещё до школы.

Потом, когда начали в школе изучать Маяковского, в десятом классе, мой любимый учитель Павел Ефимович Халдеев (я ему свою книжку потом посвятил об Островском) смотрит на класс и с победоносной улыбочкой спрашивает: есть тут такие, кто не любит Маяковского? Мой лучший друг, Юрка Мостовой, сын директора, сидел со мной за одной партой. Он отлично знал, как я к Маяковскому отношусь. Юрка под партой делает вид, что сейчас поднимет руку и меня продаст. Я подумал: кого мне возненавидеть? Моего любимого учителя? Никогда! Юрку? Да он мой лучший друг!

В университете я, наконец, прочёл стихи Маяковского, которые не входили в программу. И я вдруг почувствовал, какая пронзающая сила в нём есть, хотя он так и не стал моим любимым поэтом.

Когда я *«Красный век»* собирал, я знал, что без Маяковского не обойтись, очерк о нём надо написать. Как мне переступить через себя? Пока собирался с силами, советскую власть низвергли, и Маяковского стали пинать. А защищать гонимого — моё дело, и во мне переменилось отношение к задаче. Вы пинаете его и гоните? Тогда я посмотрю, что в нём есть.

Потом, когда я прочитал всего Маяковского, я написал о нём, наконец, так, как считал нужным. Это был мой Маяковский. Но проблема в том, что я не мог пересилить себя в любовной теме. Конечно, формально, несчастная любовь. Он же её всю жизнь любил — Лилю, сестру знаменитой французской писательницы. А она его всю жизнь пасла, использовала, да ещё при помощи мужа, Осипа Максимовича. Это не несчастная любовь. Это что-то такое, что я даже не хочу комментировать. Я себя не пересилил и никакой главы туда так и не вписал.

[О национальном вопросе]

В течение нескольких лет было противостояние правых и левых в литературе, и я никак не мог вписаться ни в правые, ни в левые. Я очень хотел попасть в «Новый мир», но они понимали, что я не их солдат. Потом Владимир Лакшин зарезал в «Новом мире» пару моих статей, и я перестал туда ходить… А в «Октябрь» я сам не хотел идти, потому что совершенно не моё это было. Мне настолько уже осточертело это сведение вечных счётов правых и левых в литературе, что когда мне предложили пойти работать в историко-философский журнал «Родина», я с удовольствием унёс ноги туда. Там я сказал: давайте я вам буду писать заметочки по четыре, по шесть тысяч знаков, чтобы умещались на журнальной полоске. И в каждом номере у меня шли эти заметочки, они

назывались *«Лейтмотив»*. Потом их все собрали, и у меня вышла книжка, по которой я сейчас иногда студентам преподаю.

А в последнем номере «Родины» у меня есть статья, где я отвечаю Станиславу Куняеву. Он — мой однокашник, поэтому мне с ним легко полемизировать. Он мне подарил свою книжку о Холокосте, в которой он этот геноцид не то чтобы полностью отрицал, но считал, что не шесть миллионов погибло, а четыре. Я отвечаю Куняеву и пишу, почему у немцев такая биологическая, яростная ненависть к евреям, и именно к ним, а не к тем, кто рядом. На эту тему сейчас появились очень интересные рассуждения.

Есть писатель по имени Джонатан Литтелл (его роман «Благоволительницы» переведён с французского). Вообще, Лидские в XIX веке из Беларуси переехали в Америку. Там они натурализовались, и один из отпрысков — внук этих самых Лидских по имени Джонатан — родился в шестьдесят седьмом году в Америке, в раннем возрасте переехал в Париж, выучил французский язык и по-французски написал роман, который читает весь мир. Он сейчас вышел у нас, эдакий толстенный фолиант.

Я его отрецензировал таким образом. Этот роман — очень умело имитированная исповедь кающегося эсэсовца. Он хотел стать композитором, но получилось так, что стал эсэсовцем. Дескать, все немцы построились, и я тоже — чего я должен каяться? Оттого, что я стоял рядом с тем, который стрелял в затылок? А другой, который их привёз сюда в душегубке, сам за рулём сидел — он что, тоже должен каяться? Причём, Литтелл это всё проимитировал в качестве оправдательного монолога и говорит: попробуй, опровергни. Действительно, когда весь народ воюет, никуда не денешься.

У Литтелла есть рассуждения о том, почему немцы и евреи оказались такими взаимонепримиримыми. Я стал вникать и понял — что-то в этом есть. Немцы сошли с ума. Русские тоже немножечко сошли с ума, но вышло так, что они-то нас хотели уничтожить как народ, а мы хотели им мозги вправить.

Потому это и не одно и то же. Сталин и Гитлер — не одно и то же. Почему у немцев такая невероятная зашоренность в национальном вопросе? Когда они, стиснутые в Тевтобургском лесу, в спину ударили римлянам, главный немец, который вошёл потом в историю, хотел, чтобы немцы перехватили у римлян их великую историческую задачу. И перехватили — переименовали Римскую империю в Священную Римскую империю германской нации.

Сейчас замечательный немецкий философ и исследователь Иоахим Фест исследует этот вопрос. Где немцам было строить что-нибудь? Они были затиснуты другими народами в лес. Немцы — одарённейший народ. Лучше всех работают — немцы, самые дальновидные — немцы, самые умные — немцы, самые последовательные философы — тоже немцы.

Немцы — тот народ, которому негде было выстраивать то, что нужно было выстраивать. Они только вот до Сталинграда и успели дойти за всю свою историю. А когда немец начинает строить в мировом масштабе, это сумасшествие полное — мы наблюдали это в Третьем рейхе.

А евреи тут при чём? Евреи — ещё один народ (кроме немцев), который одержим идеей выстроить. Что выстроить? Еврейское государство. Господь им говорил: завоюйте место какое-то и до последнего котёнка всех уничтожайте. Никакой жалости — вы пришли, а там уже не люди. Эта образность легла в основу характера еврейского. Они сказали: Бог избрал нас, и мы во что бы то ни стало должны сохранить свою идентичность, любой ценой. Какую идентичность? Земли нет, язык потеряли, ничего не осталось. Только слово «еврей», и то означает «из-за реки пришёл». Пришёл — ушёл: отсюда сама психология того, что еврей — это тот, которого гонят, всегда он должен убегать, уходить. И они, потеряв абсолютно всё, оттиснутые на последний план мировой истории, через все холокосты, через все погромы вынесли своё еврейство. Разве немцы могли простить, чтобы рядом с ними такое было, да ещё в таких условиях? Вот идеи Литтелла.

Я стал думать, что же в нашей современной реальности противостоит такому чувству национальной исключительности, как у евреев и у немцев. Что? Казаки! Отец мой — донской казак, вот это мне ближе.

Какое оно, казачье мироощущение? Казак — это же непонятно кто. Сегодня казак — с турками, завтра казак — с русскими. Восемьдесят процентов казаков — русские, а двадцать процентов — кто? Кто угодно. И это мне ближе. Потому, что я в этой стране вырос, в этом народе, который возник из этого межнационального, многонационального, полиэтнического мироощущения. Я выбрал русский дух как свой. Человек выбирает национальность не по крови. Она помогает или мешает. Я выбрал не еврейство, а русскость в казачьем варианте. А раз я это выбрал, так, естественно, я чувствую, что вся моя кровь стала такой.

Короче говоря, Куняеву я ответил так: «Да, я полукровка. Я жалею только об одном — что во мне всего две крови, а надо бы четыре, восемь, шестнадцать».

Григорий Пельман

Музей искусств в Переделкине

Мой большой друг Серёжа Агапов как-то позвонил мне осенью 2019-го и, как всегда, добродушно, с удивительной искрящейся жизнерадостностью, с огромной любовью предложил написать для Альманаха статью о моём небольшом домашнем музее с громким названием «Музей искусств в Переделкине». Признаться, это было неожиданно интригующее предложение, от которого я не смог отказаться.

О том, как должна была выглядеть статья, я не имел ни малейшего понятия, равно как и о том, что представлял из себя альманах «Литературное Переделкино». Сам я не литератор, и моя специальность по университетскому диплому звучит скучновато — экономист-математик. Однако, получив первый выпуск, почитав очень личные, искренние, пронзительные истории, я понял, что мне повезло.

Я начал читать в метро, на перегоне Новопеределкино–Парк Победы. У меня был диковатый вид — все пассажиры увлечены своими гаджетами, а я, единственный в вагоне, листаю печатный журнал, громко и эмоционально восторгаюсь, переживаю за судьбы людей, моих соседей — жителей и гостей Переделкина и Мичуринца. Как много жизней открыл я для себя и прожил, читая Альманах!

Я родился в мае 1951 года, и мои родители, Леопольд Григорьевич Пельман и Инесса Тихоновна Журавлёва, в первый месяц моей жизни сразу же привезли меня на дачу к бабушке в Мичуринец, в дом, который по-прежнему находится на пересечении нескольких улиц — Горького, Серафимовича, Карла Маркса и переулка Дружбы. Там мы с моими старшими братьями Володей и Юрой и проводили каждое лето, вплоть до переезда родителей в Новосибирский Академгородок в 1958 году.

Бабушкина дача была совсем малюсенькая, всего тридцать квадратных метров, с мансардой и печкой-шведкой. Сейчас я уже не представляю, как каждое лето на дачу приезжали несколько семей родственников и дружно жили семеро малышей и их родители. Мой дедушка, Тихон Андреевич Журавлёв, был одним из основателей посёлка Мичуринец, но он развёлся с бабушкой и бывал у нас крайне редко. А бабушка, Александра Герасимовна Степанова, была единственной в нашей большой семье, кто имел отношение к литературному творчеству. В течение трёх лет, с 1936-го по 1939-ый, она была главным редактором замечательного детского журнала «Мурзилка».

Сегодня же вместо маленькой любимой дачи построен новый дом, где на первом этаже и располагается «Музей искусств в Переделкине». Он тоже совсем небольшой и скорее напоминает семейную гостиную, да и приходят сюда не посетители, а гости.

Истории моего коллекционирования уже больше тридцати лет, и на выставке в музее можно увидеть картины любимых мной

художников: Кати Медведевой, Люси Вороновой, Сергея Даса, Наты Конышевой, Александры Катаргиной, Дмитрия Санджиева, Виктора Николаева. Так неожиданно сложилась мозаика моей жизни, что с этими уникальными художниками мне посчастливилось познакомиться.

Первыми картинами, которые в 1987 году открыли для меня вселенную волшебного искусства, были две небольшие работы — «Сцена на Руси» и картина без названия, которую я стал называть «Мадонной». Автором обеих была Катя Медведева — художник, философ, человек удивительно непростой судьбы. Она родилась в 1937 году, однако настоящий успех и признание пришли к ней только в 1980 году, при поддержке Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова в Москве.

Работы Кати Медведевой составляют большую часть экспозиции в нашем музее. Кроме того, за годы его существования мы провели замечательные персональные выставки в главных музеях России и Европы: Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (2004), Государственном музее А.С. Пушкина (2004, 2005), Государственном Русском музее (2006), Art Center Berlin (2008), Московском музее современного искусства (2018).

Почему картины Кати Медведевой для меня — самые любимые, и почему в течение более чем тридцати лет я не мог их не приобретать? Приобретение картин — это всегда большие расходы, и когда денег совсем немного, приходится не только экономить, но и утаивать от семьи покупку новой работы любимого художника.

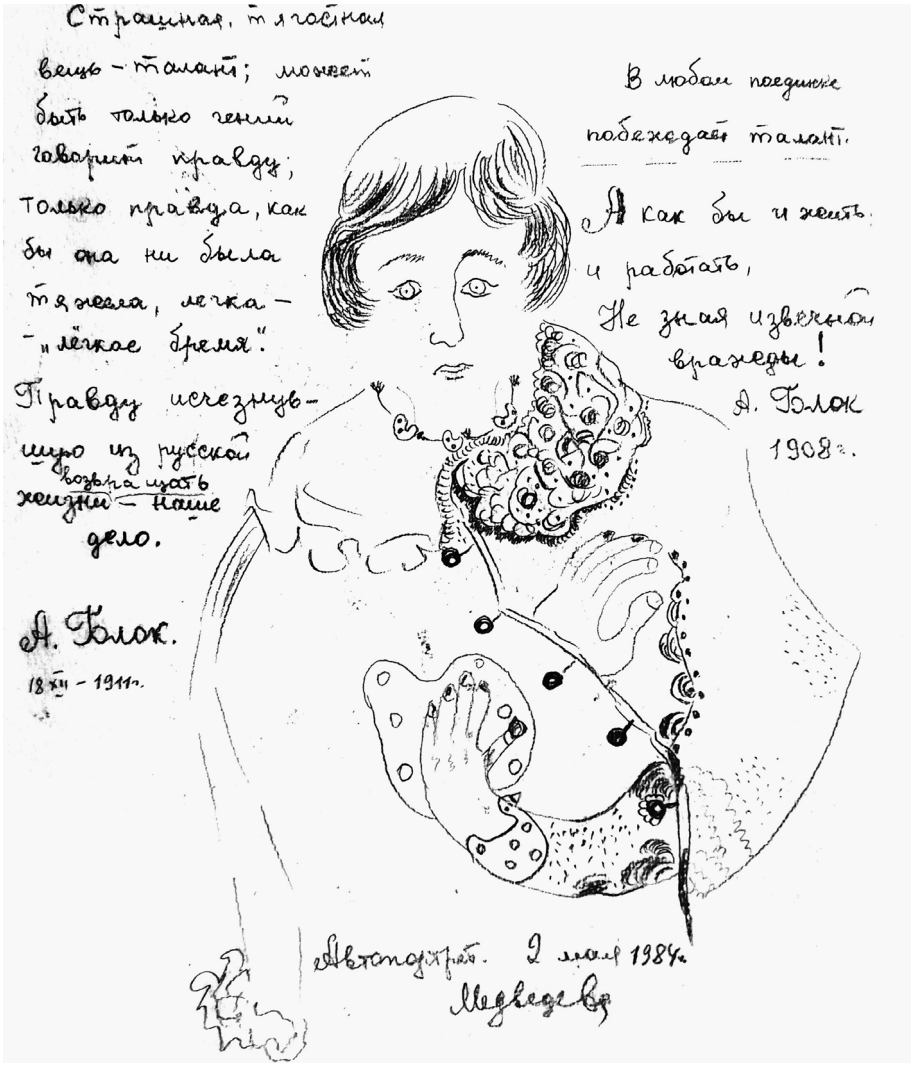
Я смог для себя ответить на эти вопросы только в 2008 году, спустя двадцать лет после появления у меня первой картины, когда готовил большую персональную выставку работ Кати Медведевой в Берлине для Art Center Berlin[*]. Особенно сложным был поиск названия выставки, но длинный пафосный вариант оказался наиболее точным: «Дневник одного человека. Открывая истины. Русский эпизод XXI».

В замечательном документальном фильме о Кате Медведевой, который так и называется «Катя», созданном киностудией АТВ и показанном на Пасху в 2002 году, прозвучали слова художницы: «Искусство — это эмоции». Для меня соприкосновение с картинами и сопереживание жизни героев художественной композиции

[*] Это была самая большая за всё время — более шестисот квадратных метров — экспозиция и наиболее полная выставка работ художницы. Было представлено полторы сотни работ, включая картины, рисунки, куклы, расписанные предметы, зарисовки, страницы дневников, мировоззренческие эссе и видеоматериалы. Фрагменты этой экспозиции представлены в нашем музее в Переделкине.

на холсте — самые сильные эмоции. Меня притягивают красочные, искренние, радостные или очень печальные чувства, звучащие в работах Кати. Она по-настоящему проживает судьбу своих героев, возрождает их на холсте, испытывая те же самые и даже более сильные духовные мучения, что и люди, превращённые в образы в момент воссоздания жизни в пространстве картины.

Сострадание — это плата великого художника за разделённую боль и стремление уменьшить её для других своим присутствием. Это персональная ответственность за человеческие драмы прошлого, которым автор пытается противостоять своим художественным эмоциональным жестом, защищая образы, рождённые на картинах, и предостерегая людей от разрушения истинных ценностей.



Личные переживания, сопричастность и всевозрастающая пронзительная душевная энергия сердца становятся для гениального художника Кати Медведевой миссией-клятвой, озвученной словами Блока на картине 1984 года: «Страшная, тягостная вещь — талант; может быть только гений говорит правду; только правда, как бы она ни была тяжела, легка — “лёгкое бремя”. Правду исчезнувшую из русской жизни возвращать — наше дело».

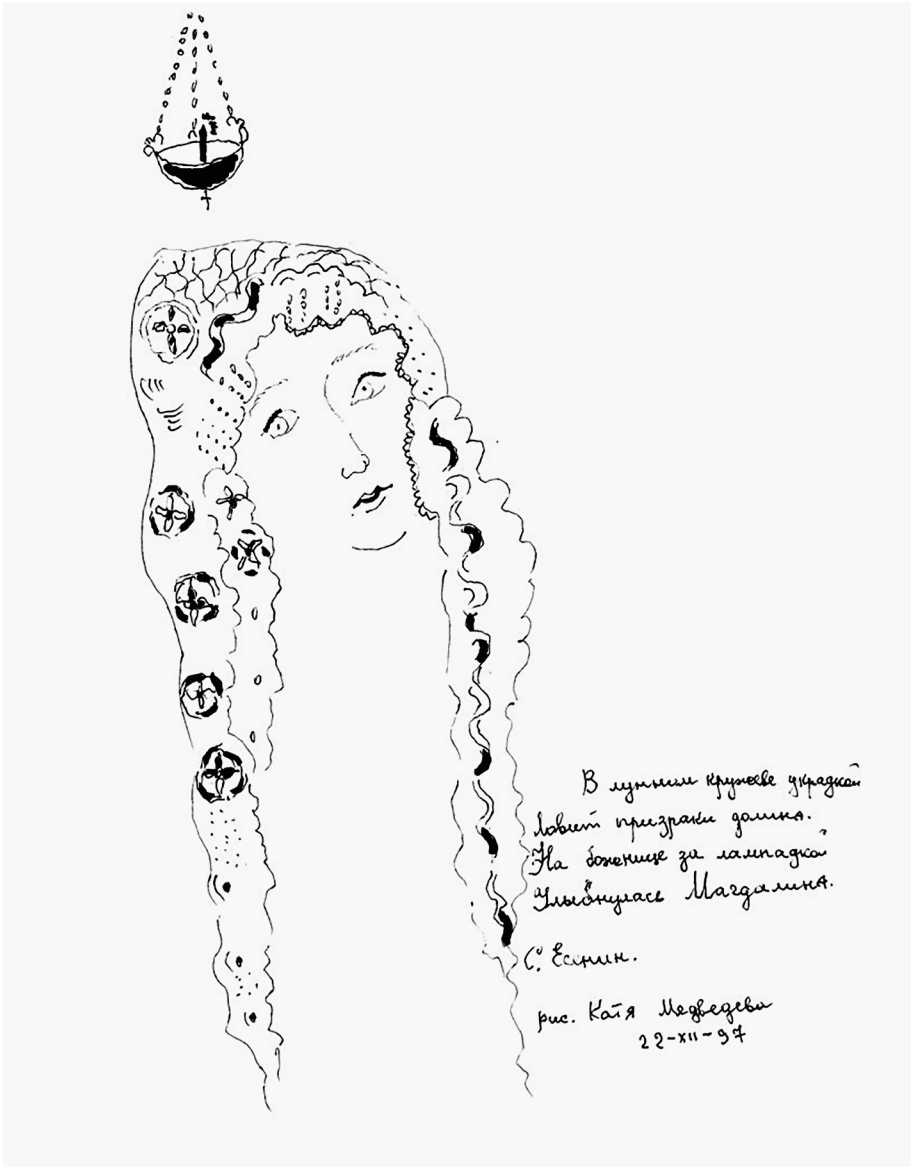
Картины Кати Медведевой созданы не для праздного созерцания, а для сопереживания. Её работы — это художественный язык, через который Катя пытается передать своё собственное представление о жизни, доброте, печали и радости. Каждый день в её жизни рождает всё новые эмоции — так страницы жизни превращаются в картины. И вот уже сами картины, как мозаичные камни, складываются и создают уникальную композицию судьбы одного человека, в которой, словно в зеркале, отражается жизнь Неба и Земли.

Собранные вместе, картины дополняют друг друга, и каждая начинает играть уже свою собственную роль в контексте общего сценария. Вся выставка целиком образует единое пространство для созерцания, осмысления, медитации. Изображение здесь неотделимо от слов, написанных на страницах дневника и непосредственно на самих картинах. Это не просто выставка живописи, а масштабный красочный спектакль о философских проблемах, духовных терзаниях и поиске, о мире внутри и вокруг одного человека, одной судьбы, возрождённых истин — Любви, Веры, Надежды.

Как и все жители планеты Земля, Катя Медведева дышит, ест, немного спит и много думает, переживает жизни близких и далёких. Переживания и сопереживания не оставляют её ни днём, ни ночью — это семья и другие люди, события, которые происходят сегодня, и те, что свершились много веков назад. Катя чувствует их радость, но громче всего слышна боль трагедий и печали.

Её судьба соткана из тяжких испытаний, но вместе с тем наполнена и светом искренней любви и веры. И для того, чтобы жить, Кате — как свет, как воздух — необходимо творить. Необходимо писать — картины и слова на них — каждый день, по одной, по две, по три…

Катю Медведеву называют самым известным наивным художником России. Это определение слишком ограниченно и искажает смыслы и сути. Многомерность её не укладывается в традиционную классификацию стилей и направлений, а разнообразие сюжетов её картин, её техника и композиция удивляют, поражают любителей и профессионалов.



Это — живопись обнажённой души. Именно обнажённая душа своим натянутым, как струна, нервом как будто водит кистью по полотну. Это — духовная энергетическая живопись. В картинах воплощена космическая энергия добра, духовного света, громадная концентрация нравственной истины. Это — гимн откровению, психотерапевтический сеанс, ведущий к внутреннему раскрепощению, самооценке, а может, и к покаянию.

Замечательный американский художник Марк Ротко в 1957 году сделал заявление, в котором подчеркнул эмоциональное содержание своего творчества и выступил против того, чтобы на него навесили ярлык абстракциониста. «…Я не интересуюсь соотношениями цвета или формы или чего-то ещё. Мне интересно выражать главные человеческие эмоции — трагедию, экстаз, обречённость и так далее — и тот факт, что многие люди рыдают при виде моих картин, доказывает, что я передаю эти главные человеческие эмоции… Люди, которые плачут перед моими картинами, переживают те же религиозные чувства, которые испытывал я, когда писал их».

А до этого, в 1943 году, тот же Марк Ротко писал вместе с другими художниками редактору газеты «Нью-Йорк Таймс»: «…Не может быть такой вещи, как хорошая картина ни о чём. Мы настаиваем на том, что решающим является содержание, и только то предметное содержание имеет значение, которое несёт в себе трагизм и находится вне времени. Поэтому мы исповедуем родство с примитивным и архаичным искусством». Оба манифеста полностью соответствуют смыслу и духу творчества Кати Медведевой и прочитываются в её картинах.

На выставки Кати Медведевой приходят, в основном, для того, чтобы увидеть живописные полотна, а покидают их так, словно посетили Духовный Храм. К людям возвращается вера, свет, надежда и праздник. Свидетельство тому — многочисленные записи в книгах отзывов. Вот лишь некоторые из них:

— Катя! Я никогда не писала отзывов. Но сейчас потрясена. Бог вам дал чудный дар. Вы соединили красоту и душу и выплеснули это на холсты…

— Праздник для глаз и души. Только заходишь в зал и ещё не рассматриваешь подробно работы, а уже начинаешь улыбаться…

— Очень светлые, чистые картины. От них идёт удивительная энергетика…

— За вами идут люди, чтоб не погибнуть в темноте…

— Спасибо, Катенька! Хочу такую Россию, какая внутри тебя…

— Фантастика! Волосы дыбом и хочется летать…

— Ваши картины вызвали во мне воспоминании о детстве. Смех, слёзы, взрыв радости. Глядя на картины, думаешь, что тоже сможешь творить…

— Удивительно доброе женское искусство. Оно завораживает и каждая картина как образ при познании мира…

— Спасибо за теплоту и надежду. Они сейчас мне так нужны…

— Катя, Вы мастер живописи и театра, в Ваших сюжетах хочется жить и играть…

— Уйти от этого Чуда трудно. Возвращаюсь. Живите, чудеса, вечно!…

— После вашей выставки стало легко…

— Ваши картины пронзают душу удивительным чувством нежности к жизни и миру…

— Нет слов. И кажется, что-то случилось…

— Я плакала. Спасибо…

И для самой Кати слова — неотъемлемая часть творчества. У работ, как правило, очень ёмкие и содержательные названия, а часто тексты воспоминаний, поучительных рассуждений, философские мини-эссе пишутся прямо по картине и становятся элементом художественной композиции. Очень важно вчитываться в Слова, они приносят понимание и сочувствие.

Как картины, так и слова Кати Медведевой наивны по стилю и абсолютно искренни по содержанию, архаичны по форме и современны по звучанию, сакральны по сути и прекрасны по цвету и композиции. Они обладают магической силой, несут в себе трагизм и радость, духовный свет и вечные истины Любви и Веры.

На одной из картин Катя написала на холсте: «Родиться в России — это уже судьба. Завтра день моего Ангела». Многоликая Катя обладает характерной чертой русского человека, которую подметил Достоевский, — «всемирной отзывчивостью», то есть, способностью откликнуться на чужую беду, пережить её как свою, помочь, порадоваться счастью другого, принять его в свою среду, перевоплотиться самому. Словами самого классика: «Русская душа… гений народа русского, может быть, наиболее способны из всех народов вместить в себя идею всечеловеческого единения, братской любви, трезвого взгляда, прощающего враждебное, различающего и извиняющего несходное; снимающего противоречия».

Google Arts & Culture
https://artsandculture.google.com/u/0/partner/art-museum-peredelkino

*Татьяна Синельникова**

Катя Медведева: Человек и художник

Время у всех одно — судьбы разные.

Катя Медведева

Полуголодное детство, раннее сиротство, почти десять лет нелюбимой работы, отказ от больного ребёнка, неудачный брак, бесприютное житьё матери-одиночки, непонимание окружающих, вечные скитания, пагубные привычки и, наконец, ранняя смерть дочери.

С другой стороны — мгновенное, хоть и в узких кругах, признание, поклонники-коллекционеры, совместная экспозиция с Марком Шагалом в начале карьеры, высокая стоимость на артрынке, невероятная плодотворность, выставки, в том числе и в самых престижных музеях мира, и широкая известность.

Много ли художников с такой трагической личной судьбой и такой счастливой творческой биографией? Если подобная история — большая редкость даже для профессионала, то для самоучки она и вовсе невероятна.

О Кате Медведевой написано множество статей, изданы каталоги её работ, сняты фильмы… Но личность художницы представляет интерес не только своим уникальным творчеством, но и контекстом, в котором стало возможно появление такого самобытного творца. Если бы в обществе не было соответствующих запросов, художница могла бы остаться безвестной, стала бы, как принято говорить, «городской сумасшедшей». Немаловажным будет проанализировать социокультурную ситуацию, в которой произошло «открытие» творчества Екатерины Ивановны.

1980-е годы — это особый период в истории нашей страны, памятный многими событиями. В начале его — расцвет андеграундного искусства, время, когда люди почувствовали вкус ко всему неофициальному, нестандартному, а коллекционеры и искусствоведы смогли по-новому оценить творчество наивных художников. В этот период признание наивного искусства происходило и на официальном уровне, и на уровне андеграунда. Наивное искусство стало рассматриваться как одно из проявлений творчества

* Искусствовед, сотрудник Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова.

в «чистом» виде, в противовес распространённому прежде государственному заказу на художественные произведения.

Как писала искусствовед Ксения Богемская, наивное искусство в это время становилось предметом собирательства, к нему всё меньше прикладывали пренебрежительный эпитет «самодеятельное». Появились первые коллекционеры наивного искусства — сами люди творческие: художники, писатели, кинематографисты, архитекторы, искусствоведы, то есть те, кто обладал хорошо развитым восприятием художественной ценности произведения. Коллекции в это время собирались спонтанно, ни творцы, ни покупатели не осознавали их значения.

В отечественном искусстве получили распространение открытия художников-авангардистов начала XX века, стали проводиться их выставки и издаваться каталоги. Опыт исследований авангарда помог впоследствии найти методику для интерпретации примитива и наивного искусства, причём, последнее перестало ассоциироваться лишь с произведениями любителя из деревни или городских социальных низов. Первым художником, чьё творчество находится одновременно и в плоскости самодеятельного, и в плоскости андеграундного искусства, стала Катя Медведева.

С одной из её работ, подаренной в 1981 году, стал складываться нынешний выставочный фонд собрания Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова. Так же началась и частная коллекция Г.Л. Пельмана, которая в последующем легла в основу Музея искусств в Переделкине. Однако, несмотря на общий культурный контекст, в котором формировались эти собрания, характер отношений художницы с коллекционерами был разным.

Первым талант Кати Медведевой разглядел в 1976 году учитель изостудии в Кисловодске А.Н. Морев, осознавший её большой потенциал и заставивший её поверить в свои творческие способности.

В художественной среде уже было известно немало о наивных художниках. Художественная интеллигенция и близкие к ней по духу люди посещали всероссийские выставки самодеятельного искусства (например, «Самодеятельные художники — Родине» в 1974 году или «Слава Труду!» в 1977 году). Зная, что члены комиссии обязательно включат в них талантливых наивных художников, о последних писали в журнале «Декоративное искусство СССР», их работы коллекционировали и показывали на квартирниках, они воспринимались как антитеза советскому академизму. Среди живописцев в это время было велико увлечение примитивом, нередко они проходили тот же путь, что и

художники-авангардисты начала XX века, наподобие Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова.

Когда Медведева в том же году переехала в город Старый Оскол, она работала сменщицей начальников отделений связи на почте на время их отпусков, имея возможность ездить по всему району и рисовать. Здесь в течение пяти лет она занималась графикой.

Заметила художницу искусствовед Наталья Шкаровская и в 1978 году в помещении редакции журнала «Декоративное искусство СССР» устроила выставку работ Медведевой. В 1979 году, после письма из журнала «Декоративное искусство СССР», её работы взяли на выставку самодеятельных художников в Белгороде, где она заняла первое место. Тогда же в городской художественной школе у неё состоялась персональная выставка из пятидесяти девяти рисунков. Что примечательно, по воспоминаниям Медведевой, её творчество было не принято зрителями, книгу отзывов разорвали, взрослые советовали бросить рисовать, но дети писали: «Никого не слушайте, рисуйте». Весьма схожая история повторилась и спустя почти тридцать лет на персональной выставке в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина: несмотря на масштаб этой выставки, пресса и публика её встретили по-разному — одни с восторгом, другие весьма негативно, называя её работы «коммерческим наивом» и «китчем».

Получив стимул к занятию живописью в виде первых одобрений художников и искусствоведов, Медведева не сразу обрела известность. Тяжёлая извилистая судьба привела её в Москву только в 1980 году. «Как-то во сне явился Ангел с благой вестью: “Езжай, Катя, в Москву, Москва тебе дорогу откроет”», — так, с приезда в Москву, началось признание Медведевой как художницы. Она устроилась санитаркой в дом престарелых, о её положении узнали журналисты и написали о том, что «народный талант живёт и работает в немыслимых условиях».

По совету знакомых Екатерина Ивановна написала письмо председателю Комитета Советских женщин Валентине Терешковой с просьбой оказать помощь с приобретением жилья. Ответ пришёл от методистов Дома народного творчества — ей предложили сделать выставку, а также предложили путёвку на творческую дачу в Старой Ладоге, где под руководством профессиональных художников проходили занятия самоучек.

Таким образом, осенью 1981 года Катя Медведева отправилась в Старую Ладогу[1]. Специально для неё организаторы сделали исключение, и вместо одного месяца Катя прожила там два.

[1] Медведева побывала на творческой даче в Старой Ладоге ещё раз в 1984 году и жила там уже восемь месяцев. — *Здесь и далее прим. авт.*

Руководителем группы был московский художник Юрий Юрьевич Косаговский. Позже, в одном из своих интервью художница вспоминала: «Всероссийский Дом народного творчества мне очень много помогал, поддерживал… Лучшая моя весна — это осень 1981 года… За два месяца, находясь в Доме творчества, можно написать прекрасный роман. Так интересно там. Кормят три раза в день, мастерские дают, природа — чудо».

В творческой биографии художницы Дом народного творчества без преувеличения сыграл решающую роль, ведь именно на творческой даче Екатерина Ивановна стала пробовать свои силы в живописи[2], там же педагог Косаговский посоветовал Медведевой перейти к цвету: «…взять краски и холсты и писать картины». Для художницы это событие и сам факт того, что педагог поверил в неё, было подобно революции — за два месяца она создала сорок пять картин маслом, шесть из них крупных (два метра на полтора).

Медведева вернулась полная творческой энергии и принялась за создание новых картин. Эти первые живописные работы легли в основу персональной выставки, которая открылась 30 декабря 1981 года[3]. Планировалось, что выставка будет проходить двадцать дней, но продлилась она до 15 марта. Событие было весьма важным для художницы, и спустя много лет она вспоминала: «Выставку открывала сама директор Всероссийского дома народного творчества Эльвира Семёновна Кунина, красивая, высокая и очень добрая. Спасибо ей очень большое». Мероприятие имело колоссальный успех: «…вся интеллигенция Москвы была у меня на выставке персональной во Всероссийском Доме творчества». Так Медведева обрела своих коллекционеров, например, немецкого дипломата Норберта Кухинке с женой. На этой первой выставке ценители покупали работы художницы прямо с экспозиции.

После выставки Министерство Культуры впервые[4] выделило деньги на закупку произведений наивного искусства, и это были двенадцать работ Кати Медведевой. Закупка была совершена в выставочный фонд Дома народного творчества. Медведева вспоминает: «Приехали пять дипломатов с немецкого посольства на выставку. А у меня под живописью висели акварели. Они

[2] Необходимо всё же отметить, что минимум две живописные картины были созданы раньше.

[3] По возвращении из Старой Ладоги Медведева жила в Калужской области и работала там воспитателем до 2 января 1982 года, когда она с дочерью поехала на свою выставку.

[4] Ранее в музейные собрания работы наивных художников попадали или посредством дарения, или, как в случае с Суздальским музеем самодеятельного искусства, как образец самодеятельности.

спрашивают, эту можно купить, а я отвечаю: “Продано”. За полчаса акварель всю купили работники Дома народного творчества». Возможно, это были те самые двенадцать картин.

Успех выставки имел для Медведевой продолжительное, невероятно большое значение. Коллекционеры, купившие у неё одиннадцать работ, показали их в 1982 году Марку Шагалу. По просьбе Кухинке, тот написал прямо на каталоге выставки, под фамилией художницы: «Катя Медведева — это чисто русский талант. Она так же любит цвет, как и я».

С тех пор началась дружба Кати Медведевой с сотрудниками Дома народного творчества. В 1983 году она участвовала во Всесоюзной выставке произведений самодеятельного изобразительного и декоративно-прикладного искусства в Москве. В 1994 году она стала членом только что созданного при Доме объединения художников-любителей «Сверчок»[5]. В этом же году Дом впервые представил российских художников на международной выставке-конкурсе «Инсита» в Братиславе (Словакия), где среди прочих были и картины Кати Медведевой. Дом народного творчества, можно сказать, стал «открывателем» Кати Медведевой для арт-сообщества Москвы. Это было тёплое и весьма рациональное сотрудничество — Дом приобретал её работы через государственные закупки, проводил выставки.

Коллекция Г.Л. Пельмана, основателя Музея искусств в Переделкине, складывалась совершенно иначе.

Во-первых, знакомство здесь произошло в ином контексте. Если для Дома народного творчества Катя Медведева была включена в нарратив самодеятельного искусства, то Григорий Пельман познакомился с её произведениями в среде андеграунда, когда был в гостях в служебной квартире своего знакомого — художника Олега Бурьяна. Произошло это случайно. Пельман не читал статьи Шкаровской в журнале «Декоративное искусство СССР» и не встречал прежде работ Кати на всесоюзных выставках.

Во-вторых, сам характер этих отношений был иным. Коллекционирование для Пельмана — это наваждение. Очарованный творчеством Медведевой при первой встрече, он не перестаёт им восхищаться до сих пор, принимая все его метаморфозы, сопереживая ему глубоко лично. В Доме народного творчества на протяжении всего этого времени менялись сотрудники, поэтому и коллекционирование имеет там менее личный подход.

[5] В разное время сюда входили также: Татьяна Еленок, Василий Романенков, Алексей Канцуров, Алексей Сизов, Геннадий Иванов и другие. Помимо художников здесь собирались и искусствоведы, и коллекционеры. Проводились творческие вечера, персональные и коллективные выставки, читались лекции для художников, разрабатывались совместные проекты.

В Музее искусств в Переделкине хранится около тысячи работ Кати Медведевой, и это — самая большая коллекция автора. В собрании Дома народного творчества находится только шестьдесят одна картина мастера: двадцать восемь живописных полотен, тридцать графических работ, три коллажа, а также самодельные куклы и прочие объекты. Наиболее ценные ранние произведения Екатерины Ивановны, однако, есть в обеих коллекциях.

Анализ именно ранних работ представляет наибольший интерес — тогда складывался живописный стиль Медведевой. Уместен анализ этого периода ещё и потому, что, по мнению ряда искусствоведов и коллекционеров, поздние её картины стали не такими чистыми и открытыми, какими были в начале творческого пути. Существует расхожее мнение о том, что коммерческий успех негативно сказывается на творчестве наивных художников, что из него выхолащивается наивность, а коллекционеры диктуют им нехарактерные для них сюжеты, что из-за большого объёма заказов в их творчестве появляется тавтологичность или же они превращаются в профессионалов.

Одним из самых важных свойств наивного искусства является отсутствие знания о прецеденте. Невежество в вопросах истории искусства рождает смелость и новизну восприятия, но на практике невозможно утверждать подобную «чистоту» наивного художника, особенно если он получил признание и вошёл в арт-среду. Катя Медведева является классическим образцом для подобного рода дискуссий. И, возможно, здесь имеет смысл говорить о переходе живописной деятельности из досуговой сферы в профессиональную.

Ещё в ранних работах Медведева проявила себя как экспериментатор, а к середине 1990-х годов её опыты носили уже весьма масштабный характер: объекты-скворечники, текстильные куклы, картины на различных видах ткани и наждачной бумаге, роспись по стеклу. При этом, помимо традиционных техник, она, бывало, работала тряпкой, щёткой, щепкой, спичкой, могла вставлять в картины блёстки, бусы, кружево, фрагменты вышивок, иконы. Всё это указывает на приметы художника-постмодерниста. Не было бы преувеличением назвать её технику «бриколажем», то есть созданием объекта из подручных материалов. Такой художник соприкасается с предметами, которые появляются и остаются в результате деятельности человека, которые уже сами по себе наполнены символическими значениями и имеют собственную историю.

Активная работа с такими материалами, как бархат, парча, ситец, фабричные платки, фланель, гипюр и прочие, обусловлена и особенностями биографии художницы — в семнадцать лет она окончила фабрично-заводское училище и, получив специальность ткачихи, шесть лет проработала на ткацкой фабрике в Баку.

Несмотря на то, что профессия эта ей не нравилась, полученные навыки нашли своё отражение в её творческой судьбе. Немалое влияние на эту сторону её творчества оказал и опыт работы реквизитором.

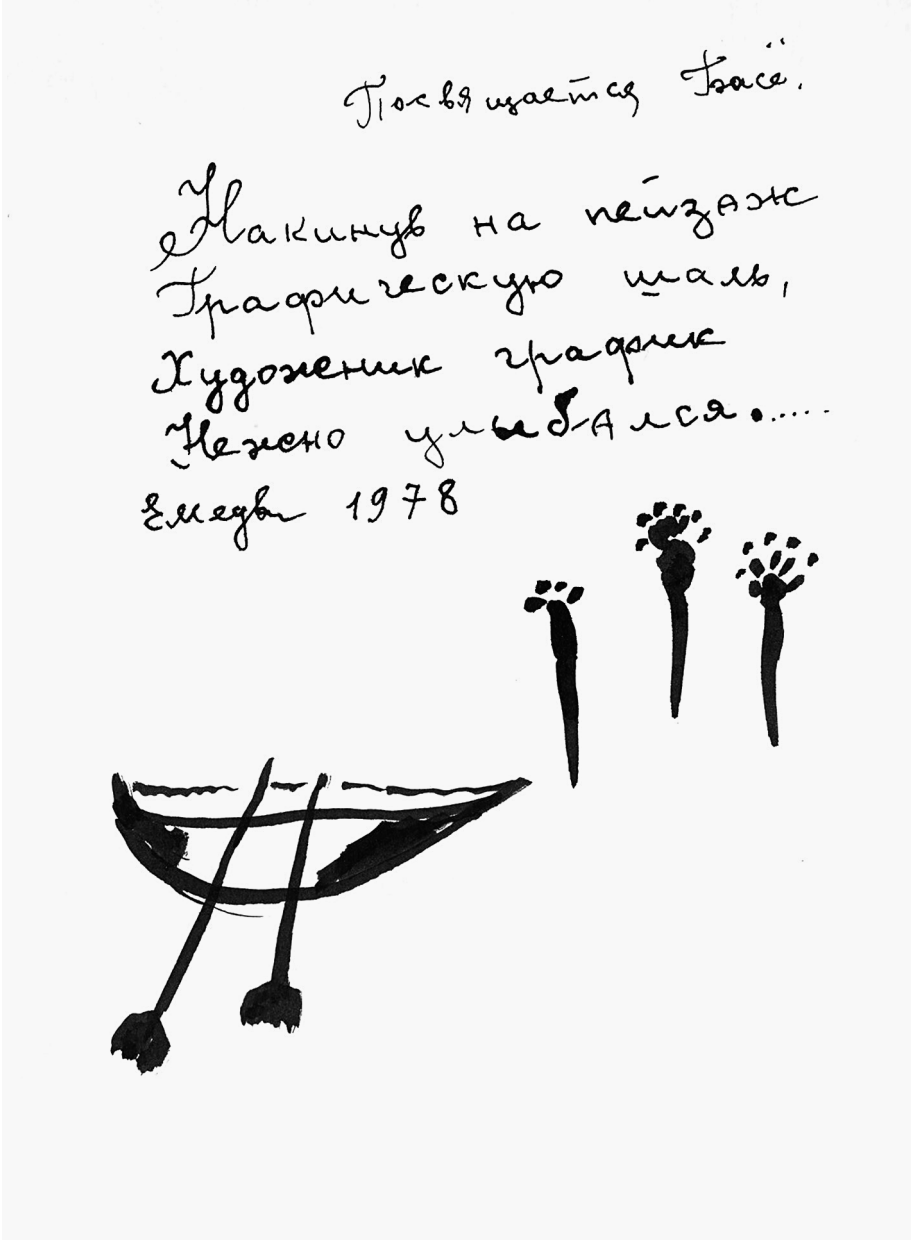
Периоды поисков и экспериментов художницы сменялись спокойной разработкой найденных идей в более декоративном ключе.

Наиболее тонкими и интимными работами из всего творчества Медведевой являются графические произведения, написанные тушью на бумаге. Глядя на них, понимаешь первых поклонников её таланта, очарованных этими картинами — здесь нет надрыва и оголённой боли её живописных полотен, не захлёстывает буря ярких эмоций. Напротив, её деликатную графику хочется рассматривать долго и очень внимательно.

Эти произведения являются наследниками альбомной традиции, здесь воздушный лёгкий рисунок соединен с собственными размышлениями или цитатами классиков. В этих «дневниках» Екатерина Ивановна раскрывается как тонкий художник, прекрасно использующий выразительность пустоты белого листа и игру переменчивой — то плотной, то тонкой — линии пера.

Медведева — прекрасный колорист, скульптурно вылепляющий жирными мазками и декоративными элементами на холсте собственные переживания, и если живопись — это эмоции Медведевой, то графика — её осмысления.

На следующих страницах представлены избранные рисунки Кати Медведевой.


Посвящается Вале.
Накинув на пейзаж
Графическую шаль,
Художник график
Нежно улыбался.....
Ижевск 1978

Басё

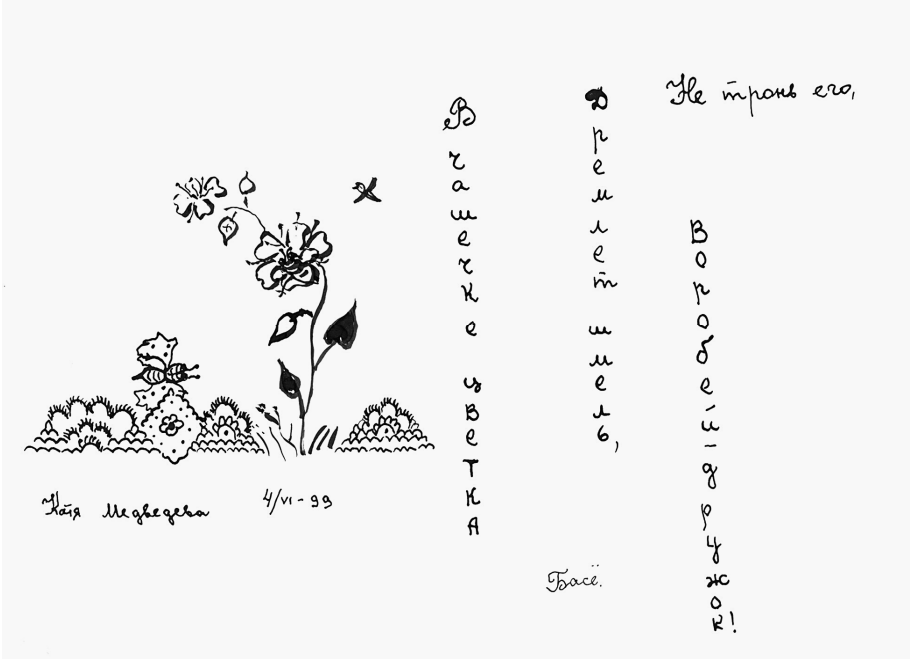
Странник! – Это слово
Станет именем моим.
Долгий дождь осенний....

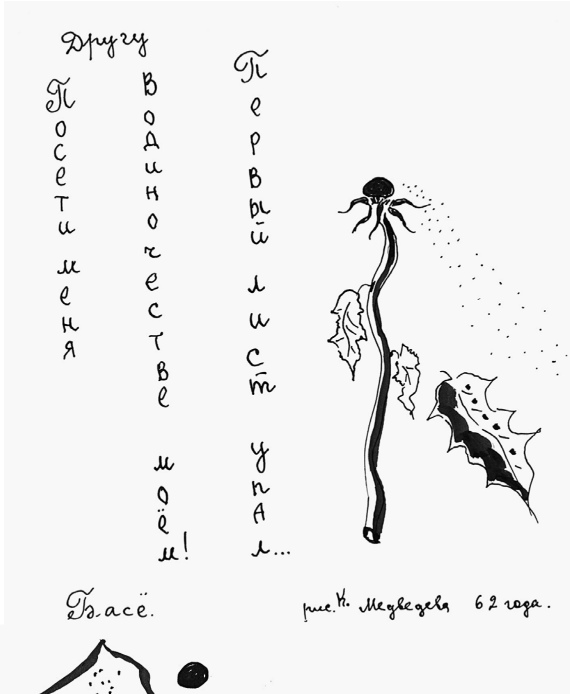
рис. Медведева Катя
1/VI-99

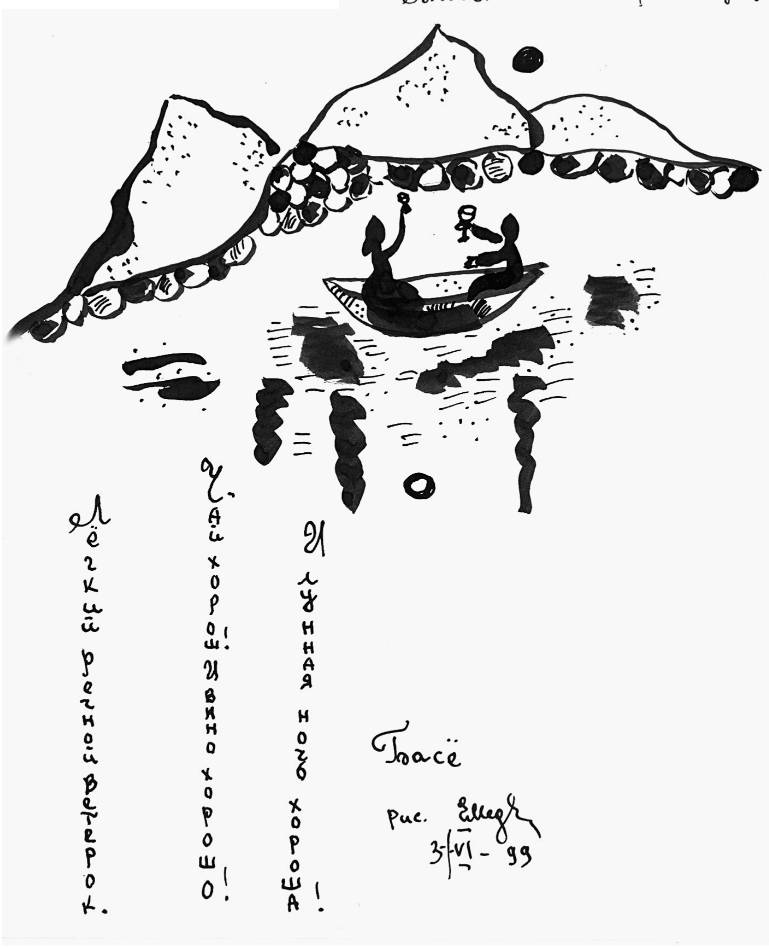
Уже
лучше посох,
да сума,
Не дай мне Бог
сойти с ума.

Пушкин

В горной деревне.
Монахини рассказ
О прежней службе при дворе
Кругом глубокий снег.
Басё.
3/VI-99
Медведева

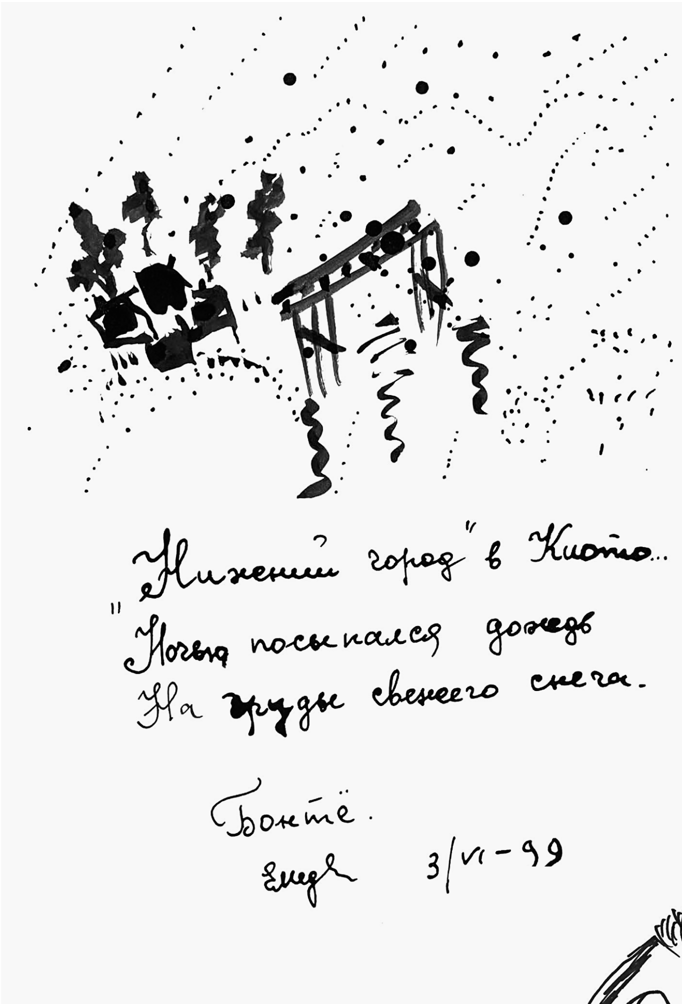

Не тронь его,
Воробей-дружок!
Дремлет шмель,
В чашечке цветка
Катя Медведева 4/VI-99
Басё.


Другу
Посети меня
В одиночестве моём!
Первый лист упал...
Басё.
рис. К. Медведева 62 года.


Лёгкий речной ветерок.
Чай хорош! И вино хорошо!
И лунная ночь хороша!
Басё
Рис.
3-VI-99

Я шёл по мосткам, и вдруг
Там, в глубине потока,
Сквозят водяные цветы.
..... Боже.
Медведева 3/6-99

Старая Ладога.
Медведева
28-VI-99


„Нижний город" в Киото...
„Ночью посыпался дождь
На груды свежего снега.
Бонтё.
3/VI-99

14/X-99

Невесты погибших российских
СОЛДАТ.....
Рис. Катя Медведева 6 в года.
17-IX-1999

В первых тиражах предыдущего выпуска были обнаружены неточности (исправленные в последующих тиражах). По решению Редакции они также указаны ниже.

С. 15 —
Напечатано: …с одним из потомков Юрия Самарина…
Следует читать: …с одним из родственников Юрия Самарина…

С. 72 —
Напечатано: …моя бабушка, сестра и её муж.
Следует читать: …моя бабушка и муж моей сестры.

С. 108 —
Напечатано: …вдовой старшего сына Леонида.
Следует читать: …вдовой второго сына Леонида.

Литературная гостиная Переделкина
(«Гараж»)

При участии
Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля
(Государственного литературного музея)

Автор и ведущая: Алла Рахманина

Видеосъёмка: Владимир Спектор, Татьяна Князева, Павел Крючков и другие

В качестве иллюстраций к очеркам использованы кадры видеосъёмки

Подбор и обработка изображений: Анна Бобровская-Ленина, Татьяна Князева

Редакция альманаха «Литературное Переделкино»

108816, Москва, ул. Павленко, д. 5

ЛитературноеПеределкино.рф
LiteraturnoePeredelkino.ru

E-mail: litperedelkino@gmail.com
Связь с редакцией осуществляется только по электронной почте

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
ПИ № ФС 77-73970 от 19 октября 2018 года

18+ в соответствии с ФЗ 29.12.2010 № 436-ФЗ

Материалы, поступающие в редакцию, не рецензируются и не возвращаются

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. Ответственность за точность цитат и фактических данных несут авторы публикуемых материалов

Оригинал-макет изготовлен в редакции

Альманах «Литературное Переделкино» распространяется бесплатно в пределах основного тиража (50 экз.), а также в электронном виде без ограничений. Любое иное использование материалов альманаха возможно только с письменного разрешения редакции

Редакция выражает благодарность
Дмитрию Иванову и Юлии Велембовской
за оказанную поддержку

Отпечатано в ФГУП «Издательство “Наука”» (Типография «Наука»)
121099 Москва, Шубинский переулок, 6

ISSN 2686-9357